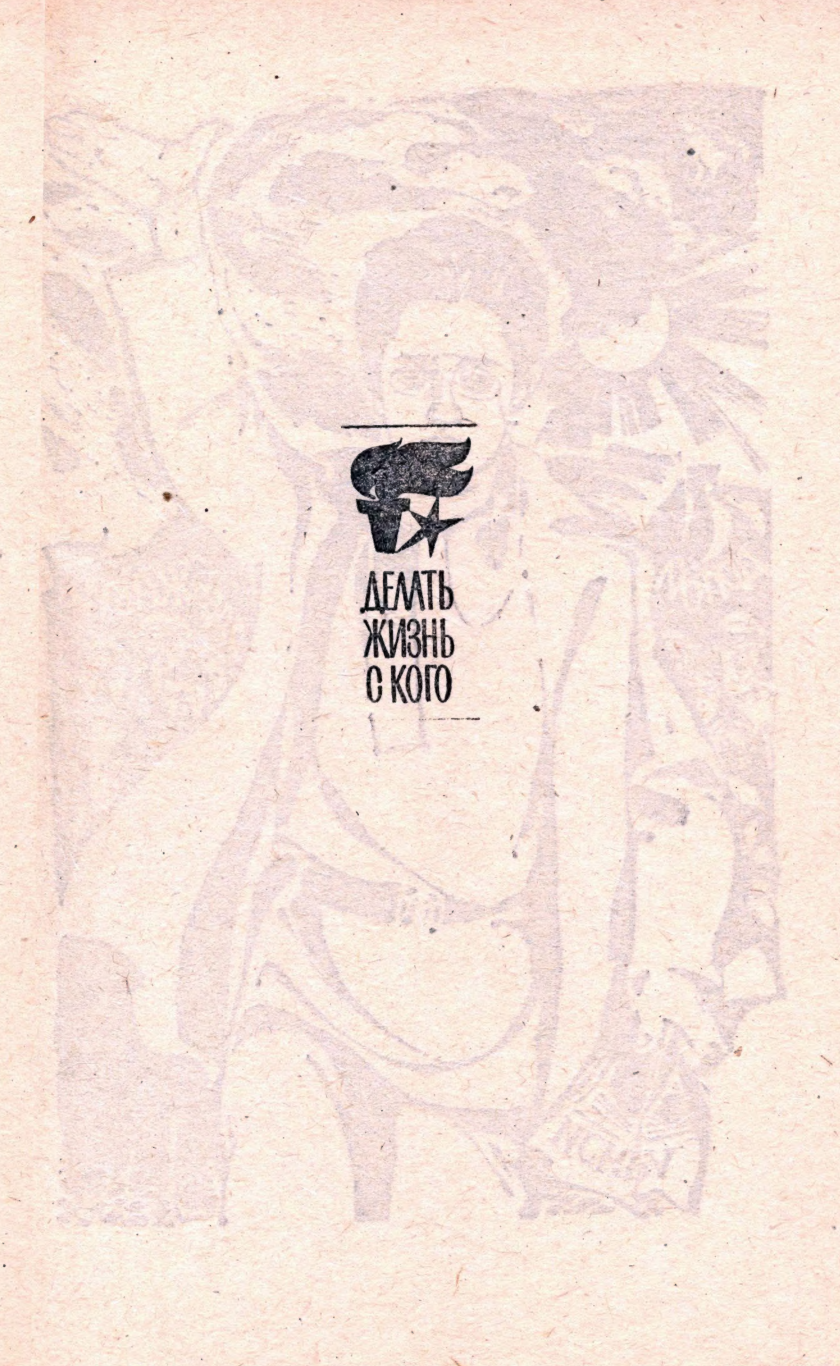
Юность Андрея

Н. Попов








ДЕЛАТЬ
ЖИЗНЬ
С КОГО


ДОЛОЙ
ОДЕРЖАВИЕ
ИСКРА

Н. ПОПОВ

ЮНОСТЬ АНДРЕЯ

ПОВЕСТЬ О Я.М. СВЕРДЛОВЕ

ЗАПАДНО-
СИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Новосибирск
1970

Р2
П58

«Юность Андрея» — биографическая повесть об одном из крупнейших деятелей и организаторов Коммунистической партии и Советского государства, ближайшем соратнике В. И. Ленина — Якове Михайловиче Свердлове.

В повести рассказывается о жизни и революционной деятельности Я. М. Свердлова в 1900—1904 годах, когда молодой революционер, выполняя первые партийные поручения, становится участником борьбы за рабочее дело.

Печатается по изданию издательства «Детская литература»
Москва · 1965

1. В ГРАВЕРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Голуби поднялись не сразу. Они в одиночку и по два выпрыгивали из чердачного окна на крышу, взволнованно семенили к желобу, глядели вниз, вверх, друг на друга и, надувшись, расходились по крашеному железному скату. Но стоило одному взлететь, отчаянно работая крыльями, как заспешили все. Оторвавшись от крыши беспорядочной гурьбой, они неожиданно просто развернулись стаей и косо пошли к солнцу.

Из седоватой чердачной тьмы небо в распахнутом слуховом окошке засветилось осенней пустынной синевой.

Яков первым подскочил к окну и замахал фуражкой, Володя замешкался. Он было пошел в дальний угол чердака, к деревянному ящику, прикрытому серым рваным мешком. Яков оглянулся на него, щуря ослепшие от солнца глаза.

— Подожди! — крикнул он в темноту.— Володя, иди сюда! Какое утро! Дыши!

Владимир Лубоцкий был на два года старше Якова Свердлова, но это не мешало дружбе. Юношеские мечты и восприятие мира были схожими. Об этом было легко говорить, не заканчивая фраз.

— Я хотел достать...— сказал Лубоцкий.

— Успеем.

Лубоцкий втиснулся в окошко. Свердлов высвободил руку и обнял Лубоцкого за плечо:

— Знаешь, Володя, бывает вот такой день, когда особенно хочется жить как следует. Будто и беспричинно,

В сущности, что? Солнце, небо, летают голуби. А поднимает! Согласен?

— Да, но с поправкой...

— Знаю, знаю! — Свердлов засмеялся.— Ты сейчас изречешь: «А почему?»

— И скажу. Потому, как известно, ничего без причины не бывает. Кстати, есть прекрасная поговорка: «Так только вороны летают». Советую задуматься.

— Схоласт ты, вот ты кто! Сухарь!

— А ты погоди, не кипятись. Я сейчас объясню. Все чрезвычайно просто: вышел, скажем, человек из темноты на свет, видит утреннее солнце, вокруг тихо, теплынь, ну и воображает, будто он один в мире. Человек и природа! Грошовый романтизм.

— Неверно!

— Здравствуйте пожалуйста! Почему неверно?

— Потому, что неверно. По-твоему, я смотрю и радуюсь, что один, что все это сейчас мое? Чепуха! Не потому, что мое, а потому, что мир в своей сущности замечательная штука. И для всех. В общем... Ты лучше помолчи и смотри. Смотри, какие дружные ребята твои голуби. Полюбуйся: ни один не отстает. Сейчас им не страшна никакая дрянь вроде ястреба.

Голуби летали правее дома кругами, словно погружаясь в небо и внезапно возникая из летучих искр.

В той стороне, среди побуревших от времени крыш, белела на солнце слепая каменная башня. От нее по косогору пыльной Острожной площади взбегала высокая щербатая тюремная стена.

— Хватит, пожалуй,— сказал наконец Свердлов и отвернулся от окна,— надо заниматься.

Они, невольно пригибаясь в темноте после света, пошли гуськом в дальний угол, к ящику. На ходу Свердлов вытащил книгу из-за гимназического пояса с металлической светлой бляхой.

— Между прочим, сестренка вчера со своими подругами так зачиталась «Оводом», что опрокинула со стола лампу. Хорошо, кто-то догадался и тут же завернул в ковер.

— Сестренку или «Овода»?

— Подруг!

— А надо бы тебя, чтобы не изображал стороннего наблюдателя. Неужели растерялся?

— Нет. Я был в мастерской. Вот.— Свердлов зажал

книгу под мышкой и полез в карман. Пошарив, достал большой носовой платок и два продолговатых штампа для паспорта.— Кажется, все правильно. Принимай. Вероятно, их надо поскорее передать. Ты знаешь, для кого? Может быть, для Сормова?

Лубоцкий взял штампы, приподнял по очереди к свету.

На штампах стояло: «Срок действия сего документа продлен на один год», и на другом: «Явлен приставу... участка».

— Что ж, хорошо, по-моему, чисто.— Лубоцкий подмигнул: — Тебе, Яков, подвезло, что у отца граверная мастерская.— Он вдруг покраснел и заторопился:— То есть я говорю в смысле выполнения поручений. Ты... сам работал?

— Это неважно. Ну конечно, сам! А насчет удобства, Володя, тут, понимаешь...

— Ладно! — буркнул Лубоцкий и покраснел еще больше.— Я понимаю — отец. Но это, брат, всегда так. Неизбежная история: отцы и дети.

— И отец и вообще...— Свердлов приподнялся и опустил плечи. Он стоял рядом с Лубоцким, но смотрел мимо него.— Ты, может быть, не думаешь, но я скажу: дело не в том, что свои. Если бы у постороннего — все равно нельзя подводить, когда, например, семья и есть маленькие.

— Оставь, Яша. Понимаю не хуже тебя. Но в таком деле обыкновенно человек рискует. Без риска нельзя.

— Да, если человек идет на риск сознательно и добровольно. Хотя...— Свердлов поднял голову и принялся ходить.— Нет, даже пусть с согласия, все равно нужно, чтобы исключался случай. То есть выбирать место наверняка, чтобы никому даже не приходило в голову.

— А это вообще, Яша, первое требование конспирации.

— Ничего не вообще, Володя, а каждый раз.

— Конечно.

— Согласен?

— Согласен. И в данном случае тоже. Ты напрасно подумал, что я не понимаю твоего положения.

— Оставим данный случай.

— Оставим... Это что за книга у тебя?

— Все тот же «Овод». Ну вот...— Свердлов сел на ящик и потряс книгой.— Во-первых, ее надо передать речникам. К тебе из училища явится ученик Савин — мы так договорились — и скажет: «Мне бы посмотреть голу-

бей». Понятно? Его зовут Николай. Николай Савин. По-моему, нужно дать им на «Овода» срок неделю. И приготовь Герцена, чтобы сразу, без задержки.

— Слушай, Яшка, я тебе давно хотел сказать: приноси ко мне теперь все, что у тебя есть подозрительного. Потому что сейчас у меня безопасно: второй раз жандармы скоро с обыском не придут.

Свердлов быстро закивал головой:

— Это хорошо, что ты сказал. Я даже, понимаешь, думал, да...

— А ты действительно Яша-обезьяша! И не стыдно? Ждал! Обезьяна!

— А ты жираф несчастный! Думаешь, лучше?

Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Лубоцкий хлопнул Свердлова по коленке и сжал ее. Свердлов, хохоча, качнулся назад.

— Погоди, я тебе еще отомщу! — Лубоцкий задел книгой за шнурок, и пенсне метнулось вбок.

Он поймал пенсне, как ловят моль, двумя руками.

— Ну и ладно,— сказал он.— Пока, Яша, мир. Давай книгу. Передать ее Савину Николаю? Хорошо. Но ты сказал, что это первое. Выкладывай, что во-вторых.

— Второе,— Свердлов провел по ежику волос от лба к макушке,— второе... Должен тебе сообщить, что я решил.

— Ну-у! Окончательно?

— Как это можно не окончательно, если реши-ил! — Свердлов протянул конец слова.— Разговор с отцом будет сегодня.

— А ты подготовился? Смотри, Яша, следует обдумать каждое слово. Это очень важно в таком разговоре.

— Слова? Нет. По-моему, если человек твердо в чем-нибудь уверился — понимаешь, до конца,— тогда и слова сами приходят. Это безусловно. Придуманные слова — фразерство и ничего больше.

Лубоцкий улыбнулся и посмотрел на Свердлова так, словно примеривал, не поспорить ли. Потом молча присел и поправил рыжие махры вокруг заплаты на мешке, которым был покрыт ящик.

— Третье есть?

— Нет третьего.

— Тогда будем конспектировать?

Вместо ответа Свердлов шагнул к горке домашней рухляди в углу чердака и нагнулся.

Лубоцкий тоже встал, обошел горку с другой стороны ударил ногой по торчащему концу доски — что-то тресснуло, сверху звонко покатились две железные пустые банки. Засучив рукав, он извлек из-под мочалок и пружин старого кресла свернутую трубочкой и обернутую в ученическую тетрадь маленькую брошюру.

Свердлов взял брошюру, разгладил ее на коленях:

— Вот кого хорошо бы увидеть! Даже если не поговорить, так хотя бы послушать.— Он поднял голову и несколько минут посидел, глядя в окошко.

На подоконник опустился голубь. Повертел хохлатой головкой и степенно повернулся к свету. Лубоцкий хлопнул в ладоши — голубь присел и вспорхнул.

— Это, Яша, невозможно. Мне один человек говорил, что автор, Н. Ильин,— родной брат казненного Александра Ульянова, Владимир Ильич; он сейчас находится, кажется, за границей. Сам понимаешь. У нас его упрятали бы за решетку.

— Понимаю, а все равно хорошо бы!.. Впрочем, я убежден, что, когда начнется, вот увидишь, он окажется тут, в России.

Это был тысяча девятисотый год. Гимназисту пятого класса Якову Свердлову минуло пятнадцать лет. Наступал двадцатый век. Он наступал не только по календарю — новое носилось в воздухе.

Нижний Новгород жил, как могло казаться с первого взгляда, по старинке, хотя и крикливой, временами суматошной, а все-таки обычной, устоявшейся жизнью большого речного торгового города.

Летом у причалов и пристаней с аршинными вывесками «Братья Каменские», «Пароходное общество «Русь», «Самолет», «Кавказ и Меркурий» с утра до поздней ночи грузились и разгружались пароходы, баржи; на Волге и в устье Оки пронзительно и басом кричали черные буксиры, тянулись беляны с лесом, нефтянки, плоты. Бойко вороша воду колесами, пробегали в низовье розовые и белые пароходы. По берегу от складов по прогибающимся сходням в трюмы ходили караванами грузчики с тяжелой и громоздкой кладью на заплечьях. Ругались капитаны. Спокойно и равнодушно светило солнце. В перламутровую дымку кутались волжские дали.

А зимами город заваливало снегом; внизу, у пристаней,— почти до крыш. Суда уходили в затоны, и запоздавшие баржи вмерзали в лед. На городских улицах дворники сгребали снег в белые крутые стога; во дворах к погребицам и сарайчикам протаптывались скрипучие тропинки.

Утром и днем на улицах города текла размеренная, по часам, жизнь. Первым торопливо пробегал рабочий люд мелких предприятий и мастерских. Гремели засовами и замками магазины, булочные, лабазы, лавки, лавчонки. Группами бежали, тарахтя ранцами или размахивая книгами в клеенках и ремешках, гимназисты. Потом, как гуси, один за другим, соблюдая дистанцию, вышагивали чиновники, кутая горло и уши в серые верблюжьи, казенного образца башлыки. Позднее на извозчиках ехали доверенные торговых фирм, коммивояжеры. Мчался в синей сетке с кистями, екая селезенкой, серый в яблоках купеческий рысак.

Когда наступали сумерки, на окнах домов хлопали ставни. Молодежь еще бродила по Большой Покровской, звенела коньками на катке, танцевала кадрили в Коммерческом или Всесословном клубе, шумела на галерке Драматического театра, но цвет города жил солидно, с тихими пасьянсами и гаданиями на червонных королей и трефовых дам. И хотя по картам выходил близкий конец света, благородные семейства раз в неделю выступали к знакомым на чаепитие за овальным столом под висячей лампой с пунцовым абажуром. После чая мужья интеллигентно играли в преферанс по маленькой, для интереса, либо, если этого требовали жены, в лото, но с условием: «Каждый, милочка, платит за себя».

А в десять вечера город засыпал. У ворот монументами задремывали ночные сторожа в овчинных тулупах, с сукастыми палками и деревянными колотушками в руках. На дворах гремели цепями волкодавы и шастали визгливые разномастные шарики, дружки, верные, барбосы, джеки, жучки. Шагали по перекресткам рыжеусые городовые, поглядывая из-под нахлобученных фуражек на силуэты редких прохожих.

Может быть, эта, как хотелось думать, на века слаженная жизнь и подсказала правительству мысль высылать в Нижний Новгород «неблагонадежных лиц» из Петербурга, Москвы и других университетских городов. Вероятно, имелось в виду, что застарелые привычки, игра в карты и бла-

голепный звон многих нижегородских церквей убедят ссыльных в тщете их усилий изменить на земном шаре жизнь. Они — студенты, «замеченные в неблагонадежном образе мыслей», писатели, опасные церкви и государству,— должны здесь воочию убедиться в муравьином бытии человека и понять: незыблемы общественные устои. охраняемые полицией, жандармами, стражниками и казачьими сотнями.

Немалую роль в этом должна была играть и Нижегородская всероссийская ярмарка с ее пьяным разгулом. На берегу Оки, в Канавине, в положенные сроки строились павильоны, карусели и балаганы.

С утра у прилавков щупали, мяли, пробовали на разрыв ситцы, сатины, нансуки и мадепаламы, примеряли полусапожки, галоши, валенки, позванивали стаканами, глиняными горшками, чугунами, кастрюлями; дышали на зеркала и самовары, протирая их рукавами; приценялись к брошкам, лентам, пуговицам; растирали пальцами на ладошках муку; сосали леденцы, нюхали разноцветные куски мыла, пересыпали из руки в руку крупы, жевали тульские и вяземские пряники, хрустели московскими баранками и сухарями; покупали для гостинцев свистульки, губные гармошки или, для удивления соседей, зубочистки.

Весь день-деньской между павильонами, ларьками, магазинами и среди каруселей, балаганов, фокусников бродили праздничные стаи людей в канареечных, пунцовых, ядовито-зеленых кофтах или в черных, коричневых, серых пиджаках, слегка отдающих нафталином, в начищенных и уже запылившихся сапогах или полусапожках (и все в галошах), толпились компаниями, лузгали подсолнушки, пили квасы, морсы или брагу; мужчины с горя или с радости опрокидывали четвертинки или сотки в раскрытые по-рыбьи рты или, пригнувшись, воровато опоражнивали стаканчики первачей, чтобы, подтянув штаны, поскорее догнать своих и уже гораздо смелее глазеть на жонглеров, пытать судьбы у гадалок в цветастых шалях, у розовых какаду, белых мышей, морских свинок и, развернув бумажки, по складам читать и перечитывать, что родились под знаком Сириуса, что найдут свое счастье в браке с симпатичной брюнеткой, получат наследство и проживут до 84 лет, но следует остерегаться высокого блондина с усами.

В потайных от этой разношерстной толпы обывателей

всех состояний кабинетах, конторках, боковушках, или в отдельных кабинетах ресторанов, чайных, или в номерах гостиниц в это время заключались торговые сделки на десятки и сотни тысяч рублей на поставку во все концы России зерна, мяса, рыбы, ситцев, галош вагонами, пароходами, караванами барж, поездами.

А по вечерам ярмарочная хмельная толпа выплескивалась на нижегородские улицы и закручивала жизнь города до первых петухов так, что неизвестно было — явь вокруг или обрывки сна.

Но петербургские министры ошиблись. Новое проникло в Нижний. Больше оно прижилось, и корни его от года к году крепли. Правительство недооценило Сормова. В Петербург поступали от управляющего Сормовским заводом донесения, что «характер рабочих всячески дерзкий и не снисходительный». Однако считалось, что «сие не опасно, поелику заводская территория от городу отдаленна и вполне охраняема».

Территория действительно была отдаленной. От Нижнего Сормово отрезалось широким устьем Оки с затопляемым в половодье канавинским берегом. На этом берегу после узкой полосы ярмарочных построек, товарных складов и кучки домов расстилался километров на десять пустырь. Его пересекали болотистые овраги, заросшие хвощом, кустарником и мелколесьем. Даже одинокий путь железнодорожной заводской ветки не оживлял местности. Наоборот, криво лежащие шпалы, чахлая травка между ними и тронутые рыжей ржавчиной рельсы подчеркивали заброшенность окружающего мира.

Около завода под сенью его желтых и черных дымов жались хибарки, домишки с огородами и рабочие казармы. Горбатые и кривые переулки с прошлогодней, заросшей колеей, улицы с летней пухлой пылью, осенней грязью в ненастье и сугробами снега под рождество убегали от заводских заборов на пустыри, пока не упирались в овраги, речку или опушку сормовского леса.

На заводе — у печей, горнов, верстаков, прессов, на кранах, стапелях, в рельсо-сорто-листопрокатных цехах, под крышами механических, сборочных, модельных мастерских, среди гор железного лома, чугуна, остовов кораблей, паровозов, визга и грохота стальных раскаленных полос—работала не покладая рук двенадцатитысячная рать прокатчиков, слесарей, токарей, электриков, машинистов,

клепальщиков, молотобойцев, сварщиков, грузчиков, плотников, мастеров и подручных, учеников и чернорабочих.

В поселке жили семьи — сам-пят, а то и больше.

И здесь, среди десятков тысяч полуголодных жизней, не могла не родиться и не крепнуть ненависть к существующему строю и жажда борьбы.

Никакие ярмарочные разгулы и никакие пустыри за Окой не могли помешать «нелегальному» Нижнему сближаться с рабочим Сормовом. Они были нужны друг другу.

Ленин в тысяча восемьсот девяносто четвертом году приезжал в Нижний. Здесь он читал в кружке ссыльных марксистов реферат «О судьбах капитализма в России» и разоблачал народников.

Через четыре года в Сормове состоялось первое открытое выступление рабочих. Следующим летом завод неожиданно громыхнул «черным бунтом», как окрестили это событие в Петербурге.

Событие возникло просто. На заводском дворе сгрудилось до тысячи рабочих, требуя выплаты заработанных денег. Управляющий крикнул:

«Я вам покажу заработок! Марш отсюда! Живо!»

И кто-то первый яростно бросил подвернувшийся под руку небольшой камень в распахнутую дверь конторы.

Камень щелкнул по дверной филенке и рикошетом сбил чью-то инженерскую фуражку. Кто-то заливисто, с упоением свистнул, и из толпы наперегонки понеслись крики. За углом звонко треснуло и брызгами рассыпалось оконное стекло. На крыльце испуганно стукнула дверь, а толпа завихрилась, плеснулась к директорскому дому. Отдельные потоки побежали к мастерским, к полицейскому участку; раздались гулкие удары, затрещали доски, загремело железо. В участке ломали столы и шкафы, в клочья рвали «дела».

Лишь к ночи «бунт» был подавлен. На завод беглым шагом ввели батальон пехоты. Среди десятков арестованных рабочих взяли и первых сормовичей социал-демократов. Этот день разом всколыхнул и Сормово и Нижний. Особенно искренне и жгуче переживала событие молодежь.

Политика властно ворвалась в жизнь. В нелегальных кружках обнаружились разногласия, запылали споры об анархии, о путях революции в России.

• • •

С чердака Лубоцких по лестнице Свердлов сбежал, пропуская ступеньки. Перед воротами остановился, поправил фуражку и нарочито медленной походкой вышел в переулок. На песчаных утоптанных тротуарах с короткой вялой травой по откосам прохожих не было, но Свердлов заставил себя идти до поворота прогулочным шагом. Смотрел на окна, на облака, даже попробовал тряхнуть березу, тронутую кое-где желтизной, и, поймав сорвавшийся лист, потер его в ладонях.

В горку Свердлов пошел легко и стремительно.

Дел было много Во-первых, зайти в городскую библиотеку и достать письмо Белинского к Гоголю. Оно ходило в списках, и если удастся незаметно для посторонних шепнуть, что письмо адски нужно, и всего на два дня, то, может быть... Что говорить, достать необходимо! (Письмо требовалось передать сегодня днем знакомому реалисту-шестикласснику, который будет его читать вечером с гимназистками, подругами старшей сестры, на домашнем кружке). Потом предстояло путешествие в Канавино, чтобы в разговоре с отцом иметь под ногами твердую почву.

А в Канавино лучше появиться не гимназистом. Будет проще и солиднее. И для библиотеки правильнее переодеться. Значит, скорее домой, не попадаясь на глаза отцу.

Свердлов бочком пробежал улицей мимо двери и окна отцовской мастерской, шмыгнул в раскрытые ворота и быстро пересек двор. Лесенка вела на деревянную галерейку двухэтажного флигеля. Там над складами каменного первого этажа помещались две квартиры. В левой жили Свердловы.

Младшая сестра удивленно вскинула голову, придерживая очки. Свердлов сморщил нос, лоб, свел брови, копируя неизвестно кого, погрозил пальцем и приложил его к губам.

Все это проделал быстро, словно одним движением.

— А дома все равно никого и нет,— сказала Сара и, дернув плечом, посмотрела в окно.

Что она, маленькая, чтобы ей корчить гримасы?

Когда брат в белой косоворотке и черных штанах, заправленных в сапоги, вышел из своей комнаты, на ходу опоясываясь витым шнурком с двумя лохматыми кисточками, Сара встала ему навстречу:

— Я понимаю: тебя не было дома.

Свердлов рассмеялся. Он подбежал к сестре и чмокнул ее в лоб. Сара сунула ему горбушку черного хлеба.

— Возьми,— сказала она, покраснев, и тут же поспешно добавила: — Человек должен питаться.

— Ты, сестренка, Талейран. Конечно, меня не было. Разве это я?

Последние слова он выкрикнул, выбежав на площадку и высунув голову в щель прикрываемой двери.

Дальше повезло меньше. В библиотеке и в канавинской аптеке пришлось томиться и выжидать, чтобы улучить минуту для своих секретных дел.

После разговора с реалистом Свердлов по пути заглянул к Горькому, но не застал его дома. Тогда решил забежать к Сомову.

Алексея Максимовича и тут не было. Сергей Григорьевич Сомов, по кличке «Дед», сидел одиноко в кресле, держа обеими руками стакан с крепким чаем. Старое кресло с высокой спинкой и широкими подлокотниками, неуютный письменный стол с тумбочками на толстых, как у рояля, ножках выглядели более громоздкими, чем были в действительности. Комната была пустынна. Лишь у стены примостилась низенькая железная кровать с тощим тюфяком, полуприкрытая истертым пледом и наброшенным поверх осенним пальто, да у окна, растопырившись, неуверенно стоял высокий стул с продавленным сиденьем. По другой стене среди разваленных на полу и кое-как сложенных в стопку книг высились два крепких некрашеных табурета.

«Дед», не меняя положения, устало и сердито взглянул на вошедшего из-под лохматых бровей. Тут же глаза его повеселели. Он потянулся и поставил стакан на блюдце, звякнул ложкой.

— Я на минутку, Сергей Григорьевич,— громко проговорил с порога Свердлов.— Думал, нет ли у вас Алексея Максимовича.

— Входите, юноша, и не говорите «Алексей Максимович», «минутка» — совершенно невежливые фразы.

Свердлов поздоровался, улыбаясь:

— Простите. Как-то подобные слова сами выскакивают.

— Плохо. «Подобные»! Плохо.— Сомов пошуршал смятой гильзой, дунул в нее и стал набивать табак.

Гильзы и табак лежали в порыжевшей газете поверх толстой книги статистических таблиц.

Свердлов присел на табурет, продолжая улыбаться. Здесь, в этой одинокой комнате, он чувствовал себя просто. И почти взрослым — можно было говорить о чем угодно, можно молчать и, помолчав, уйти.

В Сомове нижегородскую молодежь подкупало особое отношение к жизни. Все то, что нормально заботило других людей — пропитание, одежда, комната, заработок, — будто не существовало для «Деда», хотя он нигде не служил, был ссыльным, денег не имел. Жил он тем, что делал для кого-то выписки из статистических таблиц, что-то переписывал (по копейке за лист), изредка сочинял корреспонденции в газету, а если работы не случалось, то и не обивал ничьих порогов. Известно было, что ему не много помогает деньгами Горький, иногда кое-кто из ссыльных. Уважали Сомова за прямоту, за немногословие, за то, что можно было прийти в любое время и поговорить, причем всегда после такой немногословной беседы становилось почему-то яснее, как поступать. Уважали и за прошлое, о котором «Дед» не рассказывал, но иногда в разговоре оно чувствовалось за словами. Знали, что «Дед» был народовольцем, а в девяностых годах сидел в тюрьмах уже как социал-демократ.

Свердлов обычно приходил к Сомову, как и к Горькому, за книгами. Разница была лишь в том, что у Алексея Максимовича можно было получить для какого-нибудь кружка несколько книг — маленькую библиотечку — «насовсем», а у «Деда» — только одну книжку на время, и, возвращая ее, следовало приготовиться сказать свое мнение.

Сомов наконец закурил, поерзав, снова приткнулся к спинке кресла.

— Книгу? — спросил он.

— Одну брошюру, Сергей Григорьевич. Надо бы посмотреть «Коммунистический манифест» Маркса.

— Что-о? — Сомов повернулся и приподнял брови.

Свердлов сидел прямо, чуть склонив голову набок, смотрел поверх пенсне, но не на Сомова, а куда-то в угол окна.

Он собирался, внезапно заглянув к «Деду», поговорить о своем решении, посоветоваться, но почему-то начал не с главного, а с того, что можно было спросить, уже прощаясь. Впрочем, стоит ли советоваться, раз решил и об этом сказано Лубоцкому? Зачем собирать мнения? Выхо-

дит, не убежден? Глупости! И насчет «минутки» тоже, конечно, вышло глупо. Надо вообще отучаться от пустых слов и поступков.

Сомов сидел уже спокойно, поджав под себя ногу, и усиленно дымил папиросой.

— «Коммунистический манифест»! — Сомов шумно несколько раз подряд выдохнул воздух через нос.— Книги, юноша, не просматривают. Никуда не годится... Да-с. А между прочим, откуда вам известно про эту книгу?

— Думаете, нельзя, рано? Может быть...— Свердлов нахмурился и закусил губу. «Вот опять». Он помотал головой.

— Ничего не думаю! — выкрикнул Сомов.— И... и всякую книгу можно прочесть.

— О «Манифесте» однажды упомянул Десницкий.

— Кто? Не знаю никакого Десницкого!

— Знаете, Сергей Григорьевич. Я знаю, что знаете.

— Нет-с, представьте, не знаю.— Сомов широко раскинул руки.

— Неправда, Сергей Григорьевич, знаете. И многие Лопату знают.

— Никакого Десницкого... Вот вы, юноша, Маркса собираетесь читать, а... выйдете от меня и тоже, пожалуй, скажете, что были у Сомова. Ну как же... у Сергея Григорьевича.

— «Деда»,— быстро сказал Свердлов.

— Раз «Манифест» требуете... Вам, юноша, можно. Можно. У меня нет, но... у одного человека, кажется, есть. Впрочем, зайдите через три дня, получите.

— Зачем же вам самому, Сергей Григорьевич? Я могу сходить. Скажите только к кому.

Сомов дернул головой и вновь уставился на Свердлова свирепым взглядом.

— От вашего имени. От «Деда»!

Сомов взял стакан с чаем и протянул другую руку через плечо, не глядя на Свердлова:

— Жду через три дня.

Свердлов пожал руку, потоптался на месте, кашлянул и выбежал из комнаты.

...Уже стемнело, когда Свердлов вернулся на Покровку, усталый и голодный. Прошел со двора и рванул недавно прорубленную дверь в комнату за мастерской.

Раньше здесь, в этой комнатенке с одним окном, жила

вся семья. Здесь Яков родился и первое время спал у матери на кровати, рядом с выбеленной печью. В следующие годы (до переезда во флигель) детям приходилось выбираться на ночь в мастерскую. Умещались среди верстаков на полу и на составленных лавках.

Сейчас в комнатке у окна стояла небольшая печатная машина, а на месте кровати у печки был столик с наборными кассами. Над ними тусклым оранжевым светом теплилась жестяная керосиновая лампа с закопченным стеклом.

Печатник Сазонов тщательно вытирал тряпкой отливавшие грязным свинцом пальцы. Рядом, уже в картузе, стоял гравер Николай Александрович, и около него, как всегда, ощутимо пахло спиртом.

— Отец один? — спросил Свердлов и кивнул головой на прикрытую дверь в граверную мастерскую.

— Якову Михайловичу! — сказал гравер и, задержав руку Свердлова, отвел ее в сторону. Глаза у него блеснули отсветом лампы. Он сделал шаг назад и толкнул Свердлова ладонью в плечо: — Скажу напутствие:

Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала;
Она на двор на третью ночь
Без памяти вбежала.

Откуда, Яков Михайлович?

— Не знаю. Вероятно, из Пушкина.

Николай Александрович поднял палец вверх и отступил к стенке:

С вопросами отец и мать
К Наташе стали приступать.
Наташа их не слышит,
Дрожит и еле дышит.
Тужила мать, тужил отец,
И долго приступали,
И отступились наконец,
А тайны не узнали.

Пушкин! — Он потряс головой, и тень широкой, степенной бороды черным парусом взлетела на потолок.— Не-ет, «тайны не узнали». Пушкин! Обязательно Пушкин. А откуда, не знаете, не учили.

— Не знаю. И мне, по правде говоря, Николай Александрович, некогда.— Свердлов сорвал пенсне и начал протирать платком стекла.

— О-ощущаю. Пойдем, брат Ваня.— Гравер ухватил наборщика за плечо и потянул к двери.— Тут, брат, рушатся устои. Понял? Без матери. Все-е. Птенцы пробуют летать...

— Летать лучше, чем ползать,— сказал Свердлов, водрузил пенсне и серьезно посмотрел на гравера.

— Верно, Яков Михайлович, взлетайте... если сможете. Пошли, Ваня! — Он настежь распахнул дверь во двор.

Свердлов оглядел комнатку-типографию, подошел к наборной кассе и поднес к глазам какую-то литеру. Надо было успокоиться и придумать, с чего начать разговор. Вокруг стояла тишина, как в подземелье. Свердлов вздохнул и положил литеру на место.

Отец что-то подтачивал у дальнего верстака, когда Яков вошел в граверную и остановился.

— Я пришел для разговора, для большого разговора, отец. Я решил уйти из гимназии.

Отец бросил напильник в низкий фанерный ящик, стоящий рядом с тисками, и резко повернулся всем телом. Но сдержался и, привстав, только поправил обеими руками под собой лавку. Опустился на нее, по-прежнему спиной к сыну.

— Ты думаешь, Яков, что это разговор?

Он двинул зачем-то ящик с инструментами к дальнему концу верстака. Инструменты гулко звякнули.

Яков постоял, глядя себе под ноги. Потом шагнул к табуретке, переставил ее на шаг, ближе к столу с ручным прессом, и сел, подняв голову.

— Простите. Но я думал, что начинать издали — это нечестно, а лучше прямо сказать главное, чтобы было все ясно. Потому что решение твердое. Я могу сейчас объяснить: все не так уж... то есть не просто.

— А я тебя спрашиваю: ты думаешь, что это разговор? «Я решил»! Кто решает, как жить: отец или сын? Кто знает лучше? Ты что, хозяин в доме? У тебя никого нет, ты один на свете? Молчи!

Отец вздернул плечи и уперся руками в колени. Сжал их. Надо быть спокойнее. Этот Яков... у мальчишки есть характер, он горяч и настойчив.

— Молчи. И я немного помолчу. Ступай. Иди в типографию,— он махнул рукой к двери,— я сейчас туда приду.

Яков пожал плечами и рассердился на себя за этот жест. Он быстро поднялся и, стуча сапогами, вышел.

Отец вставал с лавки медленно. И так же медленно принялся поглаживать бороду по очереди то одной, то другой ладонью.

Ничего не поделаешь: как только умирает мать, семьи больше нет. Семье нужна женщина. Яков, конечно, не по летам умен... Но из него никогда не выйдет хозяин. Не надо было приваживать этих высланных под надзор полиции... Трудное время! Время такое, что не знаешь, что будет завтра. И Яков здесь, вероятно, делает... (Отец взял в руки рашпиль, посмотрел на него и сунул в ящик.) Лучше здесь, чем... Это совсем не то, что делать фальшивые деньги, но разве для мастерской не все равно, за что ее опечатает полиция? Что тогда делать? Идти в революционеры? Это даже не смешно...

Отец вошел в типографию тихо и сейчас же сел к столику у печки. Яков стоял около печатной машины, засунув руки в карманы.

— Говори! Это что, мода теперь? Вместе с твоим Лубоцким?

— При чем здесь Лубоцкий, отец? Володя сам по себе... Но я лучше по порядку. Во-первых, мне пятнадцать.

— Это много? Пора жениться, что ли?

— Отец, я прошу тебя не перебивать, потому что каждое... каждый пункт в отдельности маленький, а их много, и получится цепь.

— Ага! Цепь! — Отец сказал это с едва заметной иронией и негромко, как бы самому себе, и уперся взглядом в стену.

Яков присел на табурет. Соединив пальцы рук, он зажал их коленями и начал медленно покачиваться.

— В пятнадцать лет у рабочих начинают трудиться и помогать семье, и это в порядке вещей. — Он говорил, словно рассуждая, тихо, в такт покачиванию. — Ты и сам начал рано. Вообще таких подавляющее большинство, потому что жить всем становится невозможно трудно. То есть большим семьям. С другой стороны, гимназия учит страшно медленно; страшно много совершенно никому не нужного, вроде латинской зубрежки. Над нами учителя издеваются, притесняют и подавляют личность. Разве нас учат в гимназии тому, что нужно знать, чтобы стать человеком? И Володя Лубоцкий правильно говорит, что дома

пройдешь курс вдвое скорее. И не в том дело, что Лубоцкий,— я сам знаю, что подготовлюсь в два года и сдам на аттестат зрелости. Это факт. А жизнь на твой счет...

— Эксплуататора! — Отец взорвался криком.

Он внезапно вспомнил, как недавно Яков обронил это слово, глядя прямо ему в глаза, ему, который не разгибаясь сидит в мастерской... да, да, сам сидит за черной работой с утра до ночи, как не сидит ни один из мастеров!

— Я этого не сказал. Сейчас не сказал.— Яков повысил голос и поднял голову, выдерживая горячий отцовский взгляд.— Это не главное соображение, отец!

— Не главное? Да как ты смеешь говорить, ты, которого я пою и кормлю! Главное! Что такое главное?

— Вот! — Яков вскочил и тут же остыл.— Выходит, что ты сам сказал правильно: никто не имеет права жить на чужой счет, если может работать и понимает, что семье трудно. Вот, вот главное, что я хотел сказать. И еще главное и решающее все вопросы: революция требует...

— Что?

Отец выкрикнул это слово с угрозой и побледнел. Хотел развести руки, но почувствовал их дрожание, придавил ладони к столу. Он нагнулся так, что борода коснулась рук.

Именно то, что он подозревал, вернее, знал, но старался обмануть себя и не думать о существующем где-то внутри убеждении,— это было просто названо, как обыкновенный факт.

— Революция такая вещь...— Яков посмотрел на отца и отвел взгляд.— Я не могу. Нельзя быть сейчас сбоку. Или как страус. Нечестно. Я не могу, когда вижу.— Он замолчал и сжал, слегка приподняв, левую руку в кулак.— Вот главное, отец. Я хочу помогать. И это проще делать, если знаешь, что не подводишь тебя, вообще семью. Я договорился и буду работать в аптеке. Сначала учеником, а там видно будет.

Отец встал и, не взглянув на Якова, ушел в граверную мастерскую. Яков одернул рубашку, прислонился к станку печатной машины и посмотрел на темное окно. В нем, как в затуманенном зеркале, отражалась лампа чуть шевелящимся язычком огня.

В мастерской за дверью несколько минут слышались глухие, тяжелые шаги. Шаги были ровные, однообразные. Затем они смолкли у порога. Долго стояла тишина.

Яков сдержал дыхание, когда медленно отошла дверь.

— Какая... аптека?

Яков тоже подошел к двери, но не переступил порога. Так они постояли, молча глядя друг другу в глаза.

— Аптека в Канавине, по Шоссейной улице.

Отец вскинул брови, прищурился и качнул головой:

— Значит, ты говорил с Заком?

— Да. И с хозяином, и с помощником провизора Осипом Ивановичем Мияковским. Между прочим, он, кажется, был у нас.

— Что же ответил, между прочим, хозяин?

— Сказал, сколько будет платить и какие условия.

— Подошли?

— Подошли. Пока.

— Ну, конечно, «пока»! — Брови у отца прыгнули, но он сделал усилие.— А при чем тут Мияковский?

— Это важнейшее. Чтобы он помогал мне!

— «Помогал»! — Отец едва заметно усмехнулся.— Он, кажется, из ссыльных?

Яков заметил усмешку, и в его глазах заиграли искорки.

— Нет, не ссыльный, но он...— Яков подумал и решительно качнул головой,— вообще человек начитанный, передовой.

— Вот что, Яков Михайлович...— Отец протянул руку и, когда сын подал свою, долго не отпускал ее.

Яков отвернулся — у отца было нестерпимо жалкое лицо, а глаза, большие, устремленные в верхний угол комнаты, были пусты. Отец поморщился, сильно тряхнул головой и разжал пальцы.

— Имей в виду, что я буду немного помогать деньгами и вообще,— он говорил медленно,— но... ходатайствовать или просить тюремное начальство... не буду.

Яков засмеялся:

— В тюрьму еще надо посадить. Я им не попадусь так скоро, и... и, потом, я молод для тюрьмы.

— Иди домой, я позже... Ты завтра?

— Завтра, отец.

Выйдя во двор, Свердлов остановился, посмотрел вверх, в зыбкую темноту неба, оглянулся на дворника, закрывавшего скрипучие ворота, и радостно, шумно вдохнул ночной свежий воздух. В квартире уютно светилось окно в столовой. Яков быстро взбежал по лестнице.

2. „ИСКРА“

Осень 1901 года стояла промозглая.

Было еще четыре часа дня, а за городом заметно смеркалось. По заводской ветке на Сормово шел товарный поезд. Серые сплошные облака нависали над овражистым пустырем. Справа из-за кромки почерневшего леса над невидимой Волгой дул сырой, пахнущий палыми листьями ветер. Сеял дождь, было зябко и неуютно.

Свердлов одиноко сидел на тормозной площадке, прижимаясь плечом к высокой квадратной стойке,— так казалось теплее. Вагон покачивался и скрипел сцеплениями Иногда паровоз неожиданно дергал, и Свердлова откидывало от столба и продувало, как на сквозняке. Поспешно, не вынимая из карманов рук, он рывком подпрыгивал, стараясь попасть на прежнее, пригретое место.

Впрочем, дождь и ветер — пустяки. Хуже безделье. А жизнь — это деятельность, и в действительности это бесспорно так. Если хотеть жить, а не прозябать, всегда есть неотложные дела, которые связаны с главным. А что? Рабочее революционное движение несомненно ширится, и, следовательно, можно вполне говорить о приближении в России часа революции. Но она не придет сама, ее нужно готовить, и осуществить революцию сможет только организованная рабочая масса.

Свердлов лезет во внутрений карман пиджака, где за подкладкой спрятан план сегодняшней беседы на кружке. Сверток на месте, но вынимать его нельзя — дождь. И ветрено. Если вырвет листок из рук, тогда прыгай за ним. И вообще, вероятно, так нельзя поступать — нельзя с собой таскать компрометирующие тебя вещи, потому что вдруг возьмут на улице? Пусть случайно, по пустяку, а приведут в участок — и не отвертеться, хотя найдут всего-навсего один номер газеты. Но и проводить беседу без нее совсем не то. Он по себе знает, как действует печатное слово. И правильно — закрепленные на бумаге мысли, конечно же, имеют особую весомость, они, как факты, существуют.

Свердлова волнует предстоящее занятие. Для него оно еще внове. Одно было говорить и спорить с Лубоцким или с учащейся молодежью в Нижнем — там все знакомо, вплоть до вопросов,— а здесь рабочее Сормово!

Прошло немного больше года, как Свердлов бросил

гимназию и стал аптекарским учеником. Нашлось время и для чтения и для занятий. Наладились серьезные беседы с социал-демократами.

Когда в городе организовался подпольный комитет РСДРП, с ним, как бы сама собой, установилась личная связь. Иначе и не могло быть. Свердлова знали ссыльные, он снабжал кружки учащихся книгами. А кто, как не молодежь, жаждал деятельности? Кто, как не юноши и подростки, мог прошмыгнуть мимо городового или шпика и разбросать листовки в любом районе города? Риск? Опасность? Да это и есть самое интересное!

Свердлова притягивала не столько романтика — его больше увлекала организация самого выполнения поручений комитета. Было интересно искать и находить надежных исполнителей, предусматривать трудности, обдумывать мелочи. И потом видеть, как оживляется и осмысливается вокруг жизнь.

Работы с каждым месяцем прибывало. И все было очень важным.

Вскоре аптека, как прежде гимназия, стала помехой. Но трудно было обосновать свой уход из нее перед отцом. Выходит, сдался. А перед другими?.. И мучила мысль: может быть такая профессия — революционер?

Он думал, что может. Вообще, безусловно, может, но вот в его возрасте? Не будет ли это выглядеть как мальчишество? Где знания и опыт? И как быть с деньгами? Потребуется немного, хватит случайного заработка вроде переписки ролей для театра или еще что-нибудь... Можно найти урок! Нет, деньги не проблема. А все-таки понадобится время на поиски. И получался заколдованный круг.

Решение Свердлов принял недавно, когда в его руки попал первый номер «Искры». Прочитав газету залпом, как пьет сверкающую родниковую воду путник, Свердлов побежал к Лубоцкому.

— Володя, событие! — Он схватил Лубоцкого и закружился с ним по комнате.— Ты чувствуешь, как хорошо и все интереснее жить?

— Погоди, сумасшедший! Ничего не понимаю!

Свердлов оттолкнул Лубоцкого и, улыбаясь, посмотрел на него, задрав голову. Неизвестно было, что блестит ярче — стекла пенсне или глаза.

— Понимаешь — наша газета! — Свердлов стремительно выхватил из кармана «Искру» и потряс ею над

головой.— Тут есть строчка прямо для меня — и я бросаю аптеку.

— Определенно сумасшедший! — Лубоцкий и улыбался, загораясь восторженностью друга, и тер лоб рукой стараясь найти верный тон. Последняя фраза Свердлова его смутила.— Может быть, выпьешь сначала водицы? Говорят, помогает.

— «Говорят, говорят»! — передразнил Свердлов.— «Что скажет княгиня Марья Алексевна!» Нет, меня теперь не собьешь.

— И не собираюсь. А выпить — выпей, охладишься: вода колодезная. И посиди, а я пока прочту.

Лубоцкий сделал шаг и протянул руку за газетой, но Свердлов отпрыгнул и загородился стулом.

— Ты не веришь, Фома неверующий! Представь себе, здесь исчерпывающе сказано о моих колебаниях. Вот тут, в передовой: «Надо подготовлять людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь...» Ты понимаешь, Володя? Революцией нельзя заниматься между прочим. Как это правильно! «Не одни только свободные вечера». В этой мысли, по-моему, есть не только то, что надо понимать буквально, а и заключено в некотором роде принципиальное положение. Фу, я не то говорю! Не вроде, а именно безоговорочное признание того, что уже в наши дни революционная деятельность может и должна быть смыслом человеческой жизни. Может быть профессией. Я в этом убежден. И вообще вся передовая статья для нас — ярчайший маяк...

Свердлов тихо рассмеялся, вспомнив эту сцену в солнечной комнате Лубоцкого. Она была сумбурна... Лубоцкий, конечно, настоящий друг и товарищ, но он ошибся, когда советовал подождать и не бросать работу в аптеке. Правда, положение ученика метериально обеспечивало и даже было удобно, потому что не вызывало ни с чьей стороны вопросов. Ученик и ученик. Будущий фармацевт!

Пожалуйста, и тишайшая и благонадежнейшая профессия. Когда-то этими словами он доказывал, что ему выгоднее всего стать аптекарским учеником. Все верно. А все-таки путь истинного революционера должен быть прямым. Все силы и, если понадобится, жизнь — революции. Только так можно решать, это ясно. И как хорошо, что он так решил!

Паровоз дал протяжный гудок. Свердлов вздрогнул. Завод! Уже завод, и, значит, вокруг много людей! Надо было прыгать раньше: неконспиративно привлекать к себе внимание.

Свердлов осмотрелся и перебежал на другую сторону площадки. За канавой тянулась живая изгородь из кустов бузины.

Не раздумывая, Свердлов спрыгнул и едва-едва удержался на краю канавы. То, что он все-таки не упал, вдруг развеселило и потребовало разрядки. Поезд прошел.

Свердлов по-мальчишески, в два маха, перепрыгнул железнодорожный путь и канаву. Тут же сдержал себя и, стараясь походить на бывалого рабочего, подтянул выше воротник пальто, ссутулился. Сжав руки в кулаки, он засунул их глубоко в карманы и зашагал по тропинке к ближнему повороту.

Впереди на переезде, гремя досками, переваливаясь и скрипя рессорами, преодолевала рельсы пролетка. За ней шагом на понурой косматой лошаденке ехал стражник в помятой черной шинели. Болталась шашка в порыжевших ножнах, и петлей свисал оранжевый шнур от револьвера.

Свердлов решил, что лучше повременить с поворотом в переулок и дать процессии отъехать. В пролетке, грузно привалясь к кожаной спинке сиденья и вытянув на откидную скамейку пудовые ноги в начищенных сапогах, сидел пристав. Встреча явно была лишней.

В тот момент, когда Свердлов подошел к углу, из переулка донесся окрик:

— Стой, говорю!

Все-таки Свердлов сделал еще шаг.

В переулке невдалеке стояла пролетка. Рука пристава была вытянута по направлению к прохожему, который, очевидно, шел вдоль забора по боковой дорожке навстречу; теперь он был тоже неподвижен и, не вынимая рук из карманов черной рабочей куртки, лишь повернул на окрик голову и через плечо глядел на пролетку.

— Ты... ты что, не видишь? — кричал пристав.

Стражник, едва не наехавший на пролетку, отчаянно натягивал поводья. Задранная косматая лошадиная морда с вытаращенным огненным глазом карикатурно повторяла поворот головы кричащего пристава.

У ближних ворот на дорожке, словно по волшебству,

появилась группа ребятишек, женщины, старик в ватном высоком картузе с обвислым козырьком.

Свердлов решил подойти ближе. Старик в картузе обернулся на скрип его шагов, прицелился взглядом и неожиданно заступил дорогу.

— Нишкни! — сказал он через плечо сердитым шепотом.— Не совайся, говорю!

Пристав шевельнул рукой, будто собирался вылезти из пролетки, но, разглядев за подножкой болотистую канаву, только оперся кулаком на сиденье.

— Кто такой? Почему?

Пристав выкрикивал слова отрывисто, словно выталкивал их из глубины своего могучего корпуса, стянутого серой офицерской шинелью.

На животе шинель образовывала два горных хребта с кривыми ущельями.

— Ты что, не знаешь, что обязан картуз снять, когда меня встречаешь?

Рабочий, стоявший по-прежнему вполоборота к пролетке, рывком схватился за козырек серенькой кепки и, надвинув ее глубже, почти, до бровей, решительно повернулся к приставу:

— Я вас, скажу просто, не приметил.

— Что? Как фамилия? Он не примстил! — Пристав по-птичьи, одним глазом, посмотрел на стражника.

— Они обыкновенно так, ваше высокородие: чуть что — и не видят. Обыкновенная вещь.— Стражник лихо, двумя движениями руки, расправил обвисшие усы и приосанился.

— Обязан! Начальника всегда обязан видеть заблаговременно!

— Шел я задумавшись,— рабочий говорил громко, не спеша,— и вообще ни к чему мне вашим благородием интересоваться.

— Что? А если бы особа государя императора ехала? Тоже так? Фертом?

Рабочий сдвинул кепку на затылок и мотнул головой. Губы скривились в откровенной усмешке:

— Если бы ожидалось такое дело, ваше благородие меня загнали бы, откуда и небо сквозь решетку не увидишь, а не то чтобы помазанника божия.

— Молчать! Ты с кем говоришь!

— А я не говорю. Я отвечаю.— Рабочий повел взгля-

дом по сторонам переулка, где в разных местах у ворот и поверх заборов обозначились любопытные.

Пристав тоже огляделся. Шея его начала багроветь.

— Карпушкин! Рожу запомни! — приказал он стражнику.— Запомни его рожу. Пшел!

Пристав двумя пальцами ткнул в спину отставного солдата, истуканом сидевшего на козлах за кучера, и качнулся в другой угол сидения.

Вслед громыхнувшей по булыжникам пролетке от ворот понеслись двое босых мальчишек, скачками изображая пристяжных коней. Стражник обернулся и погрозил кулаком.

— Это кто? Сормовский пристав? — спросил Свердлов старика.

— Здешний, анафема! Чтоб его!..— старик с остервенением плюнул в канаву.

Свердлов, как бы соглашаясь, дважды кивнул головой. Улыбнувшись, он вдруг протянул и пожал старику руку. Потом приподнял плечи и пошел вперед.

Не надо было совать руку. Пожалуй, даже глупо. Вообще потерял время. Решил сегодня явиться пораньше и расспросить о заводских и сормовских новостях за неделю, это пропагандисту совершенно необходимо знать, а не выдержал. Никуда не годится! Нет, дорогой Яков Михайлович, надо строже следить за своими поступками. Хотя... если б сунулся, пристав мог остановить. Действительно, анафема! И дурак, это хорошо.

От близости керосиновой лампы с простеньким мутнобелым колпаком абажура лицо Свердлова выглядит еще смуглее. Чистый выпуклый лоб, оттененный волнистыми прядями черных волос, и верхняя половина щеки словно тронуты бронзой.

Свердлов читает по брошюрке вслух ясным баском о бесправии крестьян и рабочих в России, о злейшем враге трудового народа — русском самодержавии. Басок явно не соответствует юному лицу, фигуре, но тон его приятен и заставляет вслушиваться, нравится. Свердлов медленно поднимает в конце абзацев голову, и тогда видны его глаза — темные и большие, и взгляд — молодой, горячий,

За столом сидят семь человек. На отглаженной холщовой скатерти стоят граненые стаканы, кружки с чаем. Око-

ло Свердлова на глубоком блюдце — пузатая белая чашка с летящей синей ласточкой. Высится помятый, но начищенный до сверкания медный самовар. На двух желтоватых фаянсовых тарелках — ситный и куски вареной колбасы; рядом с бутылкой водки стоят пустые зеленоватые с бордовой или золотой полоской рюмки-лампадки, лежат в раскрытой жестяной коробке слипшиеся карамельки, играя разноцветными, будто меркнущими искрами.

Но убранство стола не привлекает внимания — люди сидят, откинувшись и обхватив сцепленными руками колени, кое-кто нагнувшись, тяжело опираясь на локти. И дело не в том, что стол накрыт на случай появления соглядатая или полиции,— мысли сидящих за столом далеко — либо в своем нерадостном прошлом, либо в таком же неприглядном и тяжелом сегодня. Об этом же рассказывает басок; да так оно и есть: беспросветна жизнь, если будешь сидеть сложа руки и ждать манны небесной.

Все семеро — мужчины. Хозяйка отослана за перегородку на кухню наблюдать из темноты через кухонное оконце за калиткой. Окна в комнате занавешены одеялом и пальто и снаружи таинственно черны. Дочь хозяина, Лушка, сидит за воротами и нет-нет да и взглядывает через планки забора, не пробился ли где в окнах свет. Сидеть скучно, но надо. В дни, когда приходит очкастый, Лушу всегда посылают — дождь не дождь — на лавку к воротам. Одно утешение: что сидит она, как большая, в мамкином полушалке поверх платьица и грызет тыквенные семечки. Что происходит за окнами, неизвестно, но у матери в такой день большие, тревожные глаза, и с ней не поговоришь. Батька тоже: даст тульский белый пряник рыбкой, словно ей пять лет, и твердит: «Смотри, Луша, в оба глаза». А смотреть не на что — переулок пустой, и по нему сроду никто чужой не пойдет, потому, кроме оврага, никуда не выйдешь. Если бы еще случился бунт, ну, тогда конечно. Соседская Танька все врет, что помнит, а вот у Луши так это действительно было: когда ей стукнуло четыре года, солдаты с ружьями пришли на завод, дядю Петра угнали сначала в тюрьму, а потом и вовсе на край света, это все знают. Пусть у земли нет края, а все равно там и летом самая лютущая зима и белые медведи, да еще какие-то тюлени на льдинах плавают. Посмотреть бы. Хорошо все знать! Когда Луша вырастет, она будет как очкастый: кто что ни спросит — обо всем расскажет. И ее

будут так же охранять, чтобы городовой не поймал. Зачем только родятся исправники?

Луше холодно. Ей немного страшно одной в черном переулке и немного хочется, чтобы появился хоть кто-нибудь из соседских. Но в переулке никого.

Луша встает, чтобы походить и согреться, разглядывает по очереди каждое окно. Что-то они там сегодня долго разговаривают.

...Закончив чтение, Свердлов закрыл брошюру, перегнул ее, подержал в руках, словно раздумывая, что теперь нужно сделать, и не спеша сунул в боковой внутренний карман пиджака.

В комнате стало слышно, как мерно, с хрипотцой тикают ходики. Свердлов оглядел присутствующих, но не поймал ни одного ответного взгляда.

— Что ж, приступим к разговору? — сказал Свердлов, встал, снял пиджак, накинул его на плечи и снова сел.

Волнение требовало движений. Он оправил рукава ластиковой косоворотки, подвинул в сторону чашку. Уже не в первый раз он проводит в кружке занятия, но, как только наступает пауза, он отчетливо слышит, как глухо и часто бьется сердце, и хочется громко вздохнуть.

— Все, конечно, так,— проговорил наконец молодой рабочий, заметно растягивая слова,— все как оно есть. В точку.— Последнее слово он произнес громко и отрывисто.

Свердлов поднял голову, не поворачиваясь к говорившему. Веки только дрогнули, но остались полуопущенными.

Рабочий тоже выждал, метнул взглядом в Свердлова и снова, еще повысив голос, отчетливо сказал:

— А какой, интересно, выход из этого обрисованного положения? Вот будет мой вопрос товарищу.— И в голосе его словно прозвучала усмешка.

Свердлов нахмурился.

— Степан! — резко и внушительно произнес густым басом хозяин квартиры, Дмитрий Никанорович, плотный, немного угрюмый и немолодой прокатчик.— Не горячись. Как мой дед, бывало, говаривал: «Малость погодь». Дай сказать вначале тем, которые постарше. Выход. Тут, брат, еще до выхода есть о чем потолковать.

Степан Пономарев пришел на кружок впервые. На прошлом занятии о нем, молодом рабочем, недавно появившемся в Сормове, рассказал его сосед по дому, модельщик Веденяпин, и поручился за него. Этого было достаточно, чтобы Степану разрешили прийти. Веденяпин пользовался среди рабочих уважением как участник стачечного комитета в дни первого выступления сормовичей; кроме того, он же был и зачинателем этого нового подпольного рабочего кружка, собиравшегося пока в домике у Дмитрия Никаноровича.

Свердлов еще в прошлый раз решил, что поговорит сегодня с новичком до начала занятий. Но Степан опоздал, а когда вошел, Свердлов подумал, что разговор, пожалуй, и не нужен — новичок оказался тем прохожим, которого пристав останавливал за железнодорожным переездом.

Дмитрий Никанорович поправил седеющие, коротко подстриженные усы, негромко кашлянул и задержал руку у рта.

— Для примера возьмем,— он заговорил ровным голосом, словно ничего особенного в комнате не произошло и не он только что осадил Степана,— возьмем наше Сормово. Зачем далеко ходить? Есть у нас бесправие и произвол или нету? Скажем, в нашей прокатке на стане «семьсот» есть мастер-сквалыга — пробы на этом мерзавце ставить негде, на весь завод известен. А ежели его заменить хорошим? Кончится для прокатчиков произвол, товарищ Степан, ай нет? — Дмитрий Никанорович даже прищурил один глаз.

— Никанорыч, оставь, зря расходуешь время! — Веденяпин затряс лысой головой с реденькой, но клочкастой бородкой.— Я вижу, куда гнешь. А Степан Пономарев нашего полку, как я вам объяснял. Только горячий, еще необстрелянный, так будем присматривать.

Степан вскочил, глянул вправо, влево и неожиданно вновь усмехнулся:

— Горячий? Видно, терпеливый, коли тут сижу.

Он стремительно сел на табурет и отвернулся от стола, глядя на пол.

— Ты о чем?

— Так! — Степан качнулся и бычком посмотрел на Дмитрия Никаноровича.— О мастерах что говорить —

они все одинаковые. Только с ними надо уметь не поовечьи разговаривать, вот что.

Свердлов подкинул плечом сползающий пиджак. Движение охладило, и он промолчал.

— А я люблю, истинное слово хорошо, когда человек с перцем! — Веденяпин рассмеялся. Он хотел еще что-то добавить, но произнес только одно слово: «Молодость» — и поперхнулся грудным клокочущим кашлем. Лицо его побагровело. Очки в железной оправе, вздернутые высоко на лоб, соскользнули. Он махнул им вслед рукой и прохрипел: — Ничего!

Свердлов вскочил и, пошарив под столом, поднял и подал очки Веденяпину, постоял над ним.

— Не по-овечьи! — весело и с задором выпалил молодой чубастый токарь, сосед Степана по столу, как только Веденяпин перестал кашлять и Свердлов вернулся на свое место.— То правильные слова! — Он посмотрел вокруг широко открытыми глазами, и щеки его залились краской — лица у всех были суровы. Смешавшись, токарь наклонился к Степану, тронул его за руку и скороговоркой зашептал:

— А то, слышь, можно мастера на тачке. Или в темном переулочке повстречать. Тоже верное дело.

— Верное,— громко и насмешливо, но с серьезным лицом проговорил сидевший напротив Свердлова высокий, худощавый нагревальщик с глянцевитыми красными пятнами на обожженных скулах.— А толк какой? Уволят человек пять-шесть, кто им поперек горла, и вся недолга. По человеку за синяк. Соображать надо! Не о мастерах нужен разговор. Мастер кто? Приказчик!

Свердлов сидел, широко раскинув локти, склонив немного набок голову, и переводил взгляд с одного лица на другое. Он думал, что пора ему вступить — разговор как будто уклоняется в сторону от темы,— но как перекинуть мостик к тому, что задумано по плану, что необходимо сегодня сказать?

Дмитрий Никанорович поймал его напряженный взгляд и шумно задвигался, скрипя табуреткой. Выпростав из рукава широкую ладонь с выпрямленными короткими пальцами, он поднял руку и рубанул воздух:

— Погодите, ребята, тут дело серьезное. Что мастер — приказчик капитала, верно, не оспоришь, да имеется другая сторона медали. С кем рабочий по десять раз на дню

столкнется? Кто штрафует? Нет, товарищи, по подлости мастер для нашего брата первая наглядная фигура, и каждый случай нам агитация.— Дмитрий Никанорович поднял кулак, посмотрел на него и ухмыльнулся.— Кулаком агитнуть? Это легче всего, да ни к черту не годится. Драка — та потом будет, как подойдет срок, а сегодня ты сумей рабочее слово сказать. Да такое, чтобы человек нутром всю механику разом понял и к правильному заключению вышел сам. Тогда будет крепче железа. Я так мыслю. В чем наша борьба? Мы встаем за рабочий класс, против всемирного капитала и хотим на земле справедливую жизнь построить. Громадное же дело! А у нас теперь, скажем,— Дмитрий Никанорович посмотрел на Свердлова и понизил голос до шепота,— у нас ячейка. Семь человек. Вроде мало, а и то согласия нет.

Дмитрий Никанорович оглянулся.

— Позвольте мне.— Свердлов быстро встал, задвинул стул и прошелся позади стола.

Его проводили взглядами.

Он остановился неподалеку от лампы и на момент повернулся к Дмитрию Никаноровичу:

— Вы правильно сказали, что дело серьезное, но, по-моему, вопрос жизнью решен. Нужно, товарищи, понять главное. Таких кружков, как наш, сейчас в России тысячи...

Свердлов сделал небольшую паузу, словно задумался. Потом кивнул головой, глянул, прищурившись, вверх и заговорил о терроре и борьбе одиночек как о естественном, но уже пройденном первом этапе в революционном движении, о бунтах и революциях, о росте самосознания в массах, об удачных и неудачных выступлениях рабочих.

Ему уже не раз приходилось думать и высказываться о тактике — о ней ожесточенно, до крика и взаимных оскорблений, спорили в Нижнем и учащиеся и ссыльные,— и Свердлов знал: убеждают факты. Поэтому, готовясь к беседе в Сормове, он тщательно продумал основные (с его точки зрения) положения и подобрал примеры, которые говорили о неизбежности настойчивой, последовательной борьбы.

Он говорил про обострение противоречий, о накоплении сил и значении организованности.

Речь была и суровой и страстной. Слушатели не отрываясь смотрели на подвижное лицо оратора.

Внезапно Свердлов остановился. Не слишком ли он увлекся? Конечно, надо проще.

Резким движением Свердлов сунул руку за полу пиджака.

— Вот, товарищи,— он выхватил откуда-то из-за подкладки тонкий газетный лист, сложенный вчетверо, и расстелил его на столе под лампой; рука вздрагивала.— Рабочая газета «Искра». Первый номер. Ее печатали за границей наши русские товарищи, которые пока вынуждены там скрываться. Это борцы-революционеры и преданные друзья рабочего класса, а потому в России, если бы они только появились, их немедля схватили бы, сгноили в тюрьмах или на каторге. Они живут за границей, но живут нашей жизнью и не могут молчать. Через несколько государственных границ, рискуя жизнью, искровцы доставляют в Россию газету. Вышло уже четыре номера. Эта газета, которую царское самодержавие ненавидит, потому что боится ее пуще огня,— вот она здесь, в далеком от заграницы рабочем Сормове.

Свердлов приподнял лист к абажуру. Тонкая папиросная бумага позолотилась ровным теплым светом; четко проступили колонки типографского убористого шрифта.

— Где выход, спрашивал тут товарищ Степан. Он, видимо, думает, что наше положение безнадежно. А выход, конечно, есть. Но только один-единственный выход, товарищи: мы должны объединять свои силы сегодня, чтобы завтра этой силой многих миллионов эксплуатируемых рабочих свергнуть самодержавие. Прогнать всех и всяческих эксплуататоров разных мастей и тогда строить свою новую, справедливую жизнь. Только так — объединившись — мы сможем вести борьбу за власть народа и наверняка победим. Это путь революции. И к ней, к революции, мы должны готовиться день и ночь здесь, в рабочем Сормове.

Свердлов отставил стул, сел на него и резким движением сбросил с плеча пиджак на спинку стула. Он обвел присутствующих лучистым взглядом.

— Вот тут есть передовая статья, которая, товарищ Степан, так и называется: «Насущные задачи нашего движения». Сегодня я вам прочту лишь последние строчки, которые дают, по-моему, самый прямой ответ на главный вопрос. Вот что говорит нам «Искра»: «Мы должны помнить, что борьба с правительством за отдельные требования,

отвоевание отдельных уступок, это — только мелкие стычки с неприятелем, это — небольшие схватки на форпостах, а решительная схватка еще впереди. Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов».

Свердлов приподнялся, развернул плечи. На момент, прищурившись, посмотрел на просвечивающий колпак абажура, помолчал, потом вскинул голову и заговорил, уверенно произнося фразы наизусть:

— «Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного. И только тогда исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева: «Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

Свердлов опустился на свое место. Он взял газетный лист, быстро начал складывать по сгибам. Пальцы не очень слушались; он отодвинул газету, но опять потянулся к ней, разгладил ладонью.

Маленькая комната со светлым кругом от лампы на столе, ушедшие в сумрак стены, затененная чьей-то головой верхушка желтенького шкафа, низкий оклеенный потолок и два оконца с портретом Некрасова в простенке — все это охватывалось взглядом и реально существовало, но по выражению лиц сидящих за столом людей было ясно, что живут они сейчас где-то за пределами комнаты.

Свердлов бережно поднял за углы газету и передал ее Дмитрию Никаноровичу. Она медленно пошла по кругу. Каждый принимал ее бережно, как хрупкую вещь, двумя руками. Веденяпин, прежде чем вернуть газету Свердлову, оглядел всех.

— «Российская социал-демократическая рабочая партия. Из искры возгорится пламя!»,— прочел он медленно вслух и после паузы, передвинув очки на лоб, добавил: — Правильно! Пожар будет, ежели ветерку поддать.

Расходились по одному. Свердлов вышел вторым, через несколько минут после Степана.

В первый момент вечер охватил темнотой, как осенняя ночь.

Пошарив вытянутой вперед рукой по холодным сырым доскам, Свердлов, наконец, нащупал щеколду и распахнул калитку.

Дождя не было. Далеко вверху висели, как оледеневшие снежинки, редкие звезды. Свердлов огляделся, с удовольствием и глубоко, с паузами несколько раз вздохнул. Теперь заметно посветлела утоптанная дорожка, различились канава, забор.

Свежий и влажный воздух хорошо пахнул осенью. Свердлов зашагал. Ноги неожиданно разъезжались на невидимых скользких бугорках, местами приходилось наугад перепрыгивать лужи или обходить их по ворохам листьев у забора, но все это не мешало хорошему настроению.

Свердлов шел пустынным переулком вдоль однообразных почерневших палисадников, а мысленно еще пребывал в освещенной комнате Дмитрия Никаноровича, разглядывал лица, слышал интонации голосов и как-то одновременно и мельком видел даже самого себя за столом около лампы.

Кажется, занятие прошло хорошо. Собственно, как нужно, по плану. Немного отвлеченно, да это ничего — пусть подумают на досуге насчет главного, во что надо уверовать: предстоит тяжелая борьба, но победа неминуемо за нами. Семь человек. Да, семь характеров. Даже когда молчали и только слушали, были разными. А все равно есть то, что объединяет. Вероятно, больше всего ненависть Она-то, конечно, есть, но еще главнее — мечта. Нет, уверенность, что можно построить справедливую жизнь на всем земном шаре. Рабочее слово... Этот Дмитрий Никанорович обронил интересную мысль. Правильно — необходимы агитаторы из рабочих. Завтра же надо поговорить в комитете о кружке повышенного типа. Отобрать таких, как Веденяпин или, например, нагревальщик с обожженными скулами.

...Когда Свердлов дошел до центральной улицы, показалось, что темнота еще больше поредела. Сквозь решетчатые заборы виднелись голые прутья кустарников с крупными, как градинки, каплями недавнего дождя. Оттуда тянулись на дорожку светлые полоски; за желтеющими окошками близких домов угадывались тепло и жизнь. Может быть, и там говорят о будущем?

Шаги стали увереннее. И время как будто пошло быстрее.

Когда поселок кончился, впереди, на уходящей ленивой петлей размокшей дороге, замаячила зыбкая человеческая тень. Человек будто вынырнул откуда-то сбоку из сплошной черноты пустыря и теперь не то топтался на дороге, не то медленно шел неизвестно куда — навстречу или вдаль.

Свердлов приостановился. Выпростал руки из карманов, огляделся и, легко перепрыгнув через колдобину с черной водой, пошел вперед по мягкой травянистой обочине.

— Это я,— донесся будто знакомый голос.

Свердлов, вглядываясь, подошел ближе и узнал человека.

Степан дважды поправил зачем-то кепку, неопределенно махнул рукой и, сорвавшись с места, на ходу, не оборачиваясь, скороговоркой проговорил:

— Не хочу я вас задерживать, товарищ, а надо одну вещь объяснить.

— Очень хорошо,— громко ответил Свердлов и тоже быстро тронулся вдогон.

— Такая вещь получилась,— наконец произнес Степан и снова помолчал несколько шагов.— Я там,— он через плечо показал оттопыренным назад большим пальцем,— может, сказал что не так. Я сейчас объясню, как умею...

Степан заговорил быстро и сбивчиво. Свердлов с трудом ловил обрывки его мыслей, но одно было радостно понято сразу: Степан чувствует вину, считает нужным объяснить свою резкость на занятии. И одновременно становилось все более ясным, что Степан не хочет так сразу сдать какие-то свои позиции, хотя они уже кажутся ему слабыми, и сердится на самого себя: и за то, что виляет, и за то, что не хватает духу не вилять, и за то, что вообще зря начат разговор, а если оборвать его, получится смешно и даже глупо, чего окончательно нельзя допустить.

— Никто этого не знает, не говорил никому, а я из Питера...

— Высланы? — быстро спросил Свердлов, став серьезным.

— Нет, сам. И в Питер сам из-за одного исправника переехал и из Питера сам. Полиция взяла одного товари-

ща — мы с ним на одной квартире стояли, но в ту ночь я не ночевал дома, так оно уж случилось... Да это все не про то. В общем, другая загвоздка... Бывал я на кружках на Выборгской стороне... Сам их отыскивал, правду искал. Ну вот,— Степан облегченно вздохнул,— кружки в одном районе, рабочие кружки, а понять ничего нельзя. Почему так?

Степан приостановился было, но снова зашагал. Свердлов на ходу вскинул голову, посмотрел на повернутое к нему лицо Степана и засмеялся:

— А вы знаете, товарищ Степан, я тоже ничего не понимаю.

Степан не улыбнулся. Он медленно несколько раз повел головой и так же медленно проговорил:

— Нет, что нужно, я знаю, вы понимаете. Вот я, верно, как щенок, тыкаюсь во все стороны.

Свердлов, спохватившись, что Степан мог неверно истолковать его смех и признанье, покраснел.

— Нет, просто я не понимаю то, что вы говорите. Точно мы с вами идем и говорим, как немец с англичанином.

— Проще хотите? — В голосе Степана опять, как на занятии, зазвучала неприязнь.— Я проще простого говорю: в одном кружке толкуют, что дело рабочих — биться за бак с кипяченой водой в своем цехе или там за пару лишних рукавиц от хозяина, а политика не рабочего ума дело.

— Ах, вот вы о чем! — не удержавшись, весело воскликнул Свердлов.— Так вы же сами поняли!

— В другом, в другом кружке,— не слушая и громче продолжал Степан,— агитатор объясняет, что покушениями правительство можно запугать. В общем, сначала террор. Слушаешь одного и думаешь: верно. Как есть поговорка: лучше синицу в руки, чем журавль в небе. Послушаешь другого — тоже вроде подходящее дело: уничтожить! А правда одна должна быть, одна. На то она и правда.

И Степан и Свердлов, слушая и говоря, шлепали по грязи, догоняли и обгоняли друг друга, перепрыгивая через колеи и канавки.

Через одну из больших, как озерцо, луж на дороге, где Степан пошел в обход, Свердлов перепрыгнул и, подождав, загородил путь Степану.

Впереди уже проглядывала россыпь канавинских огоньков.

— Все это старо, товарищ Степан, то, что вы говорите. И с этим вам нужно кончить. То есть с распутьями. Я вас спрашиваю: вы поняли, что я вам сегодня в конце читал? «Искру» поняли?

— Про крепость?

— Да, про крепость. И про организованную силу миллионов рабочих рук. Вы как, согласны?

Степан помолчал. Он стоял, отвернувшись от Свердлова вполоборота, и словно рассматривал в далекой темноте за Канавином возвышающийся горой черный берег Нижнего, по которому пробирались вверх редкие огни уличных фонарей.

Свердлов неподвижно ждал, чуть подавшись напряженным корпусом вперед. Опущенные руки были сжаты в кулаки.

Степан перевел взгляд на Свердлова:

— Согласен. Это правильно — сила.

— Единственная, по-моему,— быстро сказал Свердлов и дотронулся до распахнутого борта Степановой куртки.— И о Питере нельзя молчать. То есть о себе не надо — как уехали, почему,— а о борьбе рабочих масс и стачках — обязательно. Это же значит, что везде, где есть рабочий класс, везде растет и крепнет революционное сознание. Вы придете ко мне, и я вам дам кое-что прочесть. Или, лучше, принесу. В следующий раз. А сейчас разойдемся. В Канавине со мной не нужно показываться. Прощайте.

Он крепким, мужским пожатием встряхнул руку Степана и пошел.

Сделав несколько быстрых шагов, Свердлов оглянулся. Увидев, что Степан еще стоит на том же месте, он секунду подумал и почти бегом вернулся к нему.

— Вот что, товарищ Степан: пожалуй, у меня есть одно поручение. В Сормове нужна типография. Например, будем перепечатывать статьи из «Искры». В общем, найдется что печатать,— Свердлов улыбнулся,— верно? Так хорошо бы вам, никому ничего не говоря, предварительно... именно так, приблизительно пока только, присмотреть несколько подходящих, по-вашему, мест для типографии. Вы в Сормове недавно, и, значит, можно искать себе комнату, и это не будет подозрительным.

А потом обсудим вместе, где лучше.— Он придвинулся вплотную и пристально посмотрел в глаза Степану: — Я вам хочу верить. Можно?

В том, каким тоном были сказаны эти слова, уже звучала уверенность в собеседнике и было столько теплоты, что Степан неожиданно растерялся.

— Можно,— проговорил он дрогнувшим голосом.

Он вдруг почувствовал, будто освободился от большой тяжести. Будто стоял на верхушке горы.

Дело было не в словах Свердлова, даже не в участливом тоне, потому что слова и тон лишь подкрепляли собственные мысли. Рассказывая Свердлову о себе, Степан со стороны увидел неприглядность своей жизни одиночки.

А в Питере и здесь, час тому назад, он, Степан Пономарев, был в семье людей, к которым он принадлежал по праву, потому что думы и желания этих людей те же, что и у него. Так в чем же дело?

Смущаясь и вместе радуясь охватившему его чувству, Степан, улыбаясь и не стесняясь своей улыбки, сказал первое, что пришло на ум:

— Когда дело... когда практически, тогда понятно.

— У нас все и будет практически. Но только должен предупредить...

— А я насчет этого крепкий.

— Вот, значит, мы и договорились с вами.— Свердлов еще раз сжал Степану руку.

Отойдя, он обернулся. Степан по-прежнему стоял на месте с поднятой головой. Свердлов помахал рукой и устремился через темное поле наискосок, чтобы войти в Канавино со стороны Волги.

Входная дверь тихо отворилась, когда Свердлов еще только поднимался по лестнице. Появилась освещенная сзади сестренкина голова.

Сара тотчас приложила палец к верхней губе. Яков увидел непривычно взлетавшие над виском завитки неприбранных пушистых волос и мягким кошачьим прыжком перемахнул последние ступеньки. Сара на цыпочках, делая большие шаги и оглядываясь, как-то боком пошла по коридору. Яков, не снимая шляпы, тоже стараясь стучать тихо, тронулся вслед.

Сара миновала столовую и, зайдя в маленькую комнату, пропустила Якова, притворила дверь и, полная достоинства, прошла в угол, за голландскую печь.

— Тебя спрашивал студент,— прошептала она, приподнявшись на носках и почти касаясь лица Якова.

— Студент? Какой студент? — До сих пор Свердлов улыбался, наблюдая за сестрой, теперь лицо его стало озабоченным.

— Ах, я же не спрашивала! Ты сам учил, чтобы я никогда не лезла с вопросами, если спрашивают тебя. Я конспиративно ждала, а он — ничего.

— Ничего? При чем же здесь конспирация, если «ничего»?

— Ну как ты не понимаешь! Он про себя ничего, а про Алексея Максимовича...

Яков схватил Сару за плечи:

— Что? Да говори ты, пожалуйста, проще, без твоей дурацкой конспирации! Это не игрушки!

Сара вывернулась из его рук и прислонилась спиной к зеркалу печки. Поджав губы, она замотала головой:

— Ничего не скажу, если ты так.

— И не говори. Какая-нибудь чепуха.

— Ни за что не скажу. И совсем не чепуха! — Сара отвернулась и заложила руки за спину.

Яков снял шляпу, распахнул пальто и начал рассматривать свои облепленные грязью сапоги.

— Ужасная погода! — Он искоса взглянул на Сару и вновь наклонился к сапогам.— Изрядно вымазался... а не промокли.

Сара тоже украдкой посмотрела в сторону брата, но, встретив его взгляд, тотчас отвернулась.

— Очень важное сообщение,— сказала она тихо, но твердо, как бы сама себе.

Яков примирительно подал руку:

— Ну ладно, ты отменный конспиратор. Давай все сначала.— Он пододвинул стул и сел как был, в пальто.

— Он сказал потом так,— Сара покачалась, посматривая вверх: — «Передайте, пожалуйста, Якову, что полиция высылает Горького из Нижнего завтра. Надо подумать». Вот как он сказал.

Свердлов вскочил и зашагал по комнате:

— Высылают Максима Горького! Это возмутительно! Самый настоящий произвол! Феодализм!

— И я ему сказала, Яша, что насилие и обязательно надо протестовать. Что мы тоже будем...

— Да, да! Конечно, протестовать... Значит... завтра...

Он постоял, нагнув голову, приподняв брови; на лбу обозначились жгутами морщины; несколько раз нервно провел кончиками пальцев по крепко сжатым губам, выпрямился и посмотрел на Сару:

— Значит, сейчас нужно действовать. Я ухожу. Когда вернусь, не знаю. Ты, если кто зайдет ко мне,— кто бы ни зашел, все равно,— всем сообщаешь, что Горького высылают. Но только, сестренка, про студента ни слова. От меня узнала. Я пришел и сказал. Куда ушел — неизвестно. Отцу... отцу — как хочешь, но, видимо, я ночевать дома не буду.

Сара дотронулась до мокрого пальто брата, отдернула руку и потерла пальцы.

— Яша, но ты бы чуть-чуть поел. Я для тебя в буфете спрятала...

— Ничего не надо. Пустяки. Я где-нибудь перекушу.

Свердлов нахлобучил свою мокрую шляпенку и бросился к выходу.

...А утром в разных местах города молодежь быстро и деловито совала в руки прохожим маленькие листки с лиловыми, чуть расплывшимися строчками. В этих маленьких прокламациях подпольный городской комитет РСДРП сообщал о подлом насилии над молодым писателем Максимом Горьким и звал на борьбу с самодержавием.

3. ПЕРВЫЙ АРЕСТ

Когда перед вечером к отходу пассажирского поезда, дребезжа на неровных булыжниках пыльной вокзальной площади, подъехала извозчичья пролетка и на деревянной станционной лесенке возникла хорошо знакомая нижегородцам высокая фигура в черной широкополой шляпе, на вокзале сразу стало людно.

На первый одинокий выкрик «Да здравствует Максим Горький!» площадь ответила голосами с разных концов. Люди кричали на бегу:

— Ура Максиму Горькому!

— Долой насилие!

— Мы требуем свободы!
— Мы протестуем!..
— Да здравствует свободное слово!

Казалось, что люди сбегаются отовсюду, кричат каждый свое, беспорядочно толкаются, спрессовываясь на небольшом пространстве у вокзального входа в ходящую ходуном толпу. Где-то в проходе из буфета поплавком качнулась жандармская фуражка и мелькнуло плечо с красным витым аксельбантом. Но вокруг Горького оставалось свободное пространство. Сначала пять, потом десяток людей, молча сцепившись руками, образовали подвижной и крепкий барьер.

Горький был хорошо виден во весь рост. Он стоял, словно в раздумье, с непокрытой головой, приподняв широкие и острые плечи, вздрагивающей рукой закидывал густые прямые и рассыпающиеся волосы назад. В другой руке он держал скомканное летнее пальто и шляпу. Вся его в чем-то несоразмерная, сутулая фигура в белой косоворотке с широким кожаным поясом, черными в складках штанами, заправленными в сапоги, выражала смущенье.

Свердлов находился тут же. Спиной к Горькому, он прижимался грудью к живому барьеру, выкрикивал одно слово: «Товарищи!» — и взмахами рук как бы управлял наступлением к проходу в станционный зал.

Сбоку безуспешно старался втиснуться в толпу носильщик, у которого обе руки были заняты вещами Горького — небольшим стареньким чемоданом с вздувшейся горбом крышкой и пухлым свертком в матрасной сине-белой наволочке, перетянутой добротными сыромятными ремнями с деревянной здоровенной ручкой. Подбежавший Лубоцкий деловито подмигнул носильщику и выхватил у него чемодан. Приседая и выпрямляясь, работая плечом, как штопором, он протолкнулся вперед. Не отставая, следом за Лубоцким, как лодка за буксиром, поплыл носильщик. Третьим пытался влезть городовой, но его тут же выдавили наружу. По мостовой колесом покатилась фуражка.

Над толпой вздымались и опадали рабочие картузы, кепки, гимназические фуражки, дамские и мужские шляпы. Больше было молодежи, но кое-где мелькали морщинистые лица и седые бороды, обвислые и сгорбленные плечи.

Толпа, волнуясь, ни на минуту не смолкая, протиски-

валась через вокзал и не спеша, как паводок, уверенно захватывала платформу.

Поезд ожил любопытными лицами в поспешно опущенных окнах. Два жандарма у одного из вагонов качнулись, звякая шпорами. Около них суетился шпик в дешевой соломенной панаме с сиреневой ленточкой, то вскакивая на вагонную ступеньку, то прячась за жандармскими спинами. Панамка у шпика съехала на затылок, открыв сморщенный лоб в капельках пота и мечущиеся, испуганные глаза.

Горький сразу увидел и жандармов и шпика. Он нахлобучил шляпу, поспешно огляделся и тронул Свердлова за плечо:

— Послушайте, Свердлов, вы бы того...— Горький смущенно кашлянул в руку, встретив горящий и беспокойством и возбуждением взгляд Свердлова,— не так, знаете, на виду около моей персоны. Ни к чему это.

— Алексей Максимович, невозможно! Сейчас два коротких выступления. Вы подумайте, какой случай! Ведь сами вы, если бы, например, с Короленко...

— Если бы подобную пакость учинили над Короленко, я бы первый полез на кулачки, это верно. Но тут совсем другое дело.

— Не другое, не другое, Алексей Максимович! Это возмутительное насилие, которое немыслимо оставить без ответа! Вы видите, сколько народу это понимает?

Горький нахмурился и, ласково положив руку на плечо Свердлова, попытался отстранить его. Свердлов, сопротивляясь и задыхаясь от усилий и волнения, заторопился досказать:

— Вы, пожалуйста, молчите. Мы сами. Вам нельзя.

Горький из-под нахмуренных бровей повел взглядом в сторону жандармов и, еще больше вздыбив плечи, как бы желая заслонить Свердлова, круто повернулся и наклонил голову:

— Хорошо. Понимаю, Свердлов. Но именно вам, знаете, по-моему, надо немедленно исчезнуть.— Горький вывернул ладонь и энергично несколько раз махнул назад крепко сложенными пальцами.— Ныряйте в толпу, к прочим. Я тут за жандармами одного господинчика узрел — стопроцентный шпик, а у этих господ на организаторов собачий нюх.

Свердлов отрицательно помотал головой:



— Я совсем не организатор, но я не могу уйти, Алексей Максимович. А с двумя-то жандармами справимся, это предусмотрено. Только вы обязательно сегодня помолчите, сегодня мы действуем.

Горький оттолкнул Свердлова и устремился к господинчику в панаме. Глаза стали жесткими. Он гневно выбросил вперед руку:

— Вы, милостивый государь! Что вам здесь надобно?

Панамка нырнула за спину жандарма и тут же поплыла вдоль вагона.

Горький обернулся к Свердлову:

— Вот, я вам говорил!

Свердлова рядом не было, а живой барьер поспешно вытянулся клином к вагонной площадке, разом уплотнился толпой молодежи, которая весело и дружно, с криком: «Куча мала!» — наваливалась на жандармов. Чтобы не упасть под вагон, жандармы вынуждены были отступить в сторону. Их оттесняли все дальше от площадки.

— Товарищи! — натужно вырвался из общего шума звонкий голос. В плотной гуще над головами на момент поднялась рука, сжатая в кулак, помаячила и опустилась.— Самодержавие совершило сегодня гнусный акт насилия,— голос окреп и зазвучал в нарастающей тишине уверенно,— высылают Максима Горького! Мы зовем вас к протесту, мы требуем свободы слова! Долой насилие над личностью!

В другом месте, где толпа заметно разбухала, раздался на высокой ноте трепещущий женский выкрик:

— Почему царские сатрапы высылают Горького?

Неожиданно, как на пожаре, частыми ударами зазвенел станционный колокол. Не дав ему смолкнуть, заверещал пронзительный свисток обер-кондуктора. Паровоз не отозвался.

— Они боятся правды, товарищи! — продолжала выкрикивать женщина в короткой черной жакетке и серой круглой шапочке. Ее лицо горело от возбуждения.

Дежурный по станции отчаянно замахал над головой красной фуражкой. Обер-кондуктор, заливаясь на бегу новой испуганной трелью с присвистом, и жандарм, пригибаясь и петляя между встречными людьми, пробивались к паровозу, который шумно и сердито выдыхал облачка пара и дыма.

— Товарищи, покажем, что мы не безгласные рабы!

Мы требуем гражданских свобод! Вернуть Горького! Долой самодержавие!

Наконец, паровоз подал сиплый, протяжный гудок; дернулись, толкаясь буферами, и стронулись вагоны.

— Вернуть Максима Горького в Нижний!

— Долой насилие!

— Свободу слову!

— На демонстрацию, товарищи!

Около водокачки невидимый хор дружно грянул песню:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог...

В станционном садике взвился было и смолк одинокий полицейский свисток. Где-то в далеком, не отличимом уже от других окне поезда мелькнула высунутая рука, и черная широкополая шляпа замелькала крылом птицы. На последней вагонной площадке повис красный огонь бокового сигнального фонаря.

Свердлов еще не знал, что замечен, что с этого дня наступает новый, труднейший этап в его жизни. Отныне параллельно с общей народной борьбой за революцию ему предстояло — и временами один на один — бороться с армией явных и секретных филеров, полицией, жандармами, тюремной администрацией, следователями и прокурорами, членами судебных палат и губернаторами — всеми теми, кто охранял крепость самодержавия, как свой собственный дом, и для кого он, Свердлов, теперь явный и лютый враг.

Открытый подрыватель государственных основ Российской империи восторженно шагал с товарищами по канавинской мостовой к плашкоутному мосту через Оку.

Некоторое время ряды шли молча. После возбуждения, царившего на вокзале, когда, казалось, некогда было дышать и вокруг непрерывно что-то совершалось, чего никак нельзя упустить, вечерняя улица и широкая река внизу с уходящей на другом берегу вверх по косогору зубчатой стеной кремля охватили тишиной.

Люди ощутили, что устали, но их усталость была приятна. Заметили звезды на небе, прохожих на тротуа-

рах, услышали собственные шаги, и вновь потянуло идти не толпой, а колонной. Начали вразнобой подсчитывать ногу: «Раз, два» — и сбились. Возник смех.

Рядов сейчас было немного. В оживленную толпу на вокзале невольно включились и те, что приехали помахать платочком отъезжавшим родным или знакомым. Там, на платформе, необычайность события поразила и захватила. Некогда было размышлять. Теперь, успокоившись, кое-кто опомнился и заспешил домой. Кое-кто из наиболее любопытных к происшествиям все-таки увязались за демонстрантами, но на всякий случай шли по тротуару, чуть-чуть позади колонны.

Свердлов шагал в первом ряду, весело поглядывая вперед и вокруг себя, словно говорил: «Смотрите, товарищи, как все хорошо получается,— ведь идем! Идем посередине улицы, и ничего страшного. Это потому, что все вместе мы — сила».

Перед спуском на мост ряды смешались, колонна рассеялась. Так было установлено планом комитета — переходить Оку группками, чтобы не возбудить заранее тревогу у городских властей. Местом нового сбора демонстрации был назначен поворот на другом берегу, где каменная кремлевская стена, будто утомившись крутым подъемом, резко уходила влево, не одолев последнего пригорка.

Свердлов решил взбежать по косогору к подножию кремлевской стены. Отсюда хорошо был виден крутой подъем с лениво шагающими прохожими. На глаз определялось, что в будущей колонне соберется человек сорок — пятьдесят. Что ж, неплохое начало!

— А хорошо-то как! — выкрикнул Лубоцкий, тоже взбежавший наверх.— Даже посидеть хочется на травушке-муравушке. Удивительно, как нескладно на свете устроено: всегда хочется того, чего нельзя.

— Я сейчас думаю о другом,— медленно сказал Свердлов, глядя куда-то вдаль, поверх темнеющего окского берега.

— Ну, о демонстрации теперь беспокоиться нечего: все удалось...

— Погоди! — Свердлов пробежал взглядом по тропке вдоль стены и схватил Лубоцкого за руку: — Пойдем верхом. Здесь мы даже выгадаем.

— Пошли! Мне тоже охота поговорить. Мы сегодня толком и не виделись!.. Яшка, ведь со-вер-шилось!.. И те-

перь, знаешь, теперь я могу сознаться: честное слово, меня брало сомнение. Вот как хочешь, а не очень верилось, что выйдет нечто путное. А вышло так, брат, что лучше и не бывает. Но ты где-то витаешь?

Свердлов неожиданно простер на ходу руку к горизонту:

— Поезд...

И Лубоцкий невольно посмотрел на Канавино, будто там, в темноте, можно было что-либо разглядеть.

— В нем уехала тысяча людей...

— Это ты хватил! Ходи, Яшка, по земле. Далеко не тысяча. И к тому же — разные люди. Есть которые плюются. Хотя, конечно, как ты любишь выражаться, факт есть факт.

— Нет, Володя, ты представь себе: пассажиры выходят на разных станциях. О чем они расскажут? Ведь почти тысяча вольных и невольных агитаторов. И каких! Рассказчики — очевидцы протеста. После их рассказов задумаются десятки тысяч в Вязниках, Коврове, во Владимире, в Орехове, в Москве, в деревнях и на фабриках... Это прекрасно!.. И еще я думаю, Володя,— Свердлов понизил голос,— кружки — это, конечно, важно, очень нужно и прочее, не в этом дело; однако нужен иной выход идей в массы. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Массовки, брат, тоже не ново.

— Да, но у меня такое впечатление, будто в комитете боятся массовок. Или недооценивают. Все равно — преступление! Без массовой агитации обойтись нельзя, ничего не выйдет.

— Может, потому, что осень, Яша, потом зима...

— А что же, в этом году не было лета? Короткие летучие митинги, я думаю, всегда можно провести. Ты смотри, как мы сегодня на ходу обрастаем народом!

Они подошли к повороту стены. С мостовой внизу, где обозначались первые ряды демонстрантов, им приветственно махали платками.

— Еще поговорим,— уверенно сказал Свердлов, зачем-то протянул Лубоцкому руку и побежал вниз.

Потоптавшись, колонна тронулась. Улица вновь зашумела. Кое-где в рядах взялись за руки. Шли по-прежнему легко.

Чем дальше к центру продвигалась колонна, тем больше густели прохожими тротуары. Зрелище для Нижнего

было совершенно удивительное. И непонятное: идут по мостовой... не солдаты... и не похороны. Что же это такое может быть? Спросить бы у городового, да полиция, как нарочно, куда-то исчезла. А что... что, если это самое и есть революция!

Кое-где осторожненько начали закрывать ставни. На всякий случай притворяли калитки, закладывали подворотни. Но уйти и не смотреть оказывалось невозможным. На улицах становилось люднее.

— Ах, выслали Горького? Вот оно что!

— Максима Горького?

— Это даже глупо. Озлобляют народ крайностями, а потом удивляются.

— Неглупо, господин хороший, а гнусно, весьма гнусно!

— Так и шли бы туда.

— А что вы думаете? Пойдем. Все пойдем.

Слух о высылке Горького еще с полудня пополз по городу и вызвал где смуту и споры, где возмущение. Весть о демонстрации, обгоняя колонну, пронеслась вихрем по городским улицам и всполошила умы.

Горького, несмотря на его писательскую молодость, знали хорошо везде, не только в Нижнем. В читающей интеллигентской среде с первых рассказов врезалось в память имя автора, смело и даже дерзко открывшего, как море, свежий мир истинных человеческих отношений. Формула «Человек — это звучит гордо» еще не была сказана, но она уже была на кончике пера, а призыв очистительной бури произнесен.

Чем больше интересовался читатель автором, тем сильнее ему верил. Поражала необычайность судьбы: грузчик, пекарь, батрак отправился пешком из Нижнего в Бессарабию, к Дунаю, а оттуда берегами Черного моря через Одессу, Ялту, Керчь на Кубань, в Закавказье, в Тифлис, гонимый страстной жаждой увидеть и понять, как же существует и чем жив простой человек на земле.

И, конечно, не зря — так справедливо думал читатель — писателя боится самодержавие и гонит по этапам, сажает в тюремные камеры, держит под полицейским надзором. Это еще больше усилило интерес к Горькому в обществе.

А изустные «Макар Чудра», или «Челкаш», или «Старуха Изергиль», или «Песня о Соколе» спускались с го-

родских нагорий в низы, плыли по Волге неторопливыми ночными плотами, появлялись у рыбачьих и степных костров на Кубани, у Каспия, и слово «писатель» приобретало новый смысл. Бывало и так, что кто-то вспоминал (сам удивляясь, по какой связи) странного человека с котомкой за плечами, которого довелось повстречать так же вот у ночного костра, и человек этот чудно́, а ничего, занятно рассказывал про разные случаи у людей и тоже так же вот бередил мысли.

И на завалинке у избы либо в домике рабочей слободы, глядя на вечереющее, розоватое на горизонте небо, часто певали:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...
Днем и ночью часовые
Стерегут мое окно...—

а допев, задумывались: «Верно, живет человек в России с часовым, а за что? Почему?»

В Нижнем Горького особенного любили — был он, кроме всего прочего, «своим». Поэтому демонстрация на каждом перекрестке вбирала новые группки сочувствующих.

На Большой Покровке в рядах произошло движение: колонна как-то неуловимо начала перестраиваться гуще к середине, а около здания театра вдруг в напряженную тишину ворвался дружный запев десятка молодых голосов:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...

Запев подхватили впереди и где-то сзади:

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу...

Захватывающая песня будто осветила улицу и отделила колонну от тех, кто брел и толпился на тротуарах.

— Эх, Расея-матушка... пошла! — неожиданно громко сказал человек в криво застегнутой жилетке поверх застиранной розовой косоворотки.

Он выскочил только что из калитки, как был в своем

подвале — в старых галошах на босу ногу, с куском кожи и сапожным ножиком в руках.

— От неразумия всеобщий вразброд-то,— недовольным басом заметил мужчина в поддевке и картузе, расправил на два клина седеющую бороду и из-под нависших бровей внимательно осмотрел сапожника: — Оправь штаны, философ.

— А ты не говори. Слышь? Молчи, чего понять не можешь!

— Нынче все думать начали,— весело подхватил сосед сапожника,— а это, брат, зарез: думать, ежели голова не приспособлена.

— Ну, ты! — повысил голос мужчина в поддевке и, дернув верх головой, буркнул: — Я вот скажу околоточному!..

— А ить верно,— перебил веселый голос,— полиции не видать! Лафа!

Полиции действительно на улицах не было. Полицейские чины в это время по случаю наступающего праздника Михаила Архангела, небесного шефа приставов, околоточных надзирателей и городовых всея Руси, благолепно, при медалях, отстаивали в церквах всенощную и, как по команде, повзводно крестились и клали поклоны.

Только когда демонстрация вышла к площади, властям удалось собрать кое-какие силы. Первая цепь городовых не совсем уверенно, оглядываясь и топоча сапогами больше для собственного успокоения, пересекла путь колонне. Пристав и околоточные наперебой и на разные голоса закричали:

— Господа, господа, прекратите! Прошу, господа! Разойдись!

Демонстранты приостановились. На тротуарах прохожие, толкаясь и теряя котелки, шляпы, зонты и галоши, метнулись стадом наутек. Места на тротуарах не хватало — побежали по мостовой, сбивая и увлекая за собой неплотные, извилистые ряды в хвосте колонны.

Вторая цепочка полицейских втиснулась между стоящими первыми рядами и беспорядочной толпой в хвосте колонны. Голоса полицейских окрепли.

Невдалеке от Свердлова промелькнула соломенная панамка с сиреневой ленточкой. И еще несколько озабоченных филеров с рыскающими по оцепленной толпе взглядами преданно засуетились около пристава.

Надо было прорываться. Свердлов увидел, как Лубоцкий с товарищами и одним из комитетчиков разорвали полицейское кольцо, и метнулся туда. На минуту он приостановился, чтобы проверить, не задержался ли еще кто-нибудь из членов комитета и не нужна ли там срочная помощь. Никого из знакомых лиц он не нашел, рванулся вперед, но оцепление уже вновь сомкнулось.

Полиция не решалась арестовывать кого-либо на месте. За полицейской цепью, несмотря на уговоры разойтись, все-таки оставалась толпа и возмущенно шумела.

Задержанных выпустили из оцепления. Но по одному проверяя документы, наскоро записывали некоторые фамилии и адреса.

В начале декабря Свердлова неожиданно вызвали в участок.

Все произошло до того обыденно, что застало врасплох. Конечно, Свердлов знал, что ему придется столкнуться с охранкой. Мысленно он побывал в тюремной одиночке и на суде, и в ссылке. Даже не раз уже совершал оттуда побеги, скитался по тайге, обманывая погоню. Однако все это даже в мечтаниях должно было случиться когда-то, не скоро, и произойти либо после долгого преследования, либо ночью, после обыска с отдиранием половиц, выстукиванием стен, исследованием печей и дымоходов. Может быть, где-нибудь на нелегальном собрании или в подпольной типографии в разгар работы. А тут под вечер пришел околоточный с дворником и спросил:

— Этот, что ли?

Дворник помялся и ответил:

— Они-с,— и потупился.

Пришлось шагать по непросохшей и скользкой от первого мокрого снега мостовой под конвоем двух городовых, в сопровождении околоточного, который сторонкой следовал по тротуару.

В общем, и глупо, и просто, и... ничего нельзя поделать. Надо идти. Прямо в тюрьму или сначала в участок?

...У полиции не было сведений о какой-либо особой и подозрительной деятельности арестованного в его прошлом. Следователь прочел справку о том, что бывший гимназист Яков Свердлов, еврей, 1885 года рождения, проживает при отце, в доме Губиной по Большой Покровской

улице, посмотрел зачем-то на оборотную сторону бумажки, поджал тонкие, почти бесцветные губы:

— М-да, проживает. И это всё?

Молодцеватый кукольно-румяный и чернобровый пристав развел руками:

— Ничего не поделаешь, Семен Ипполитович,— свеженький. Видимо, придется нам с вами потрудиться и вывести молодчика на чистую воду.

— Так ведь я не о том. Опять несовершеннолетний! Это и само по себе неудачное обстоятельство, а тут еще обвинение... я бы сказал весьма шаткое и, между нами говоря, недоказуемое.

Следователь придвинул тощую зеленую папку, повозился с тесемками и вытащил помятый, не первой свежести листок линованной бумаги:

— Пожалуйста, формулировочка! — Он поводил по крупно написанным строчкам тощим указательным пальцем: — «Именно этот чернявый больше других суетился около господина Пешкова и потом все сбивал народ петь разные недозволенные песни». «Суетился», «сбивал» — что это, собственно, значит? Какие песни? Или: «Чернявый». Вот вы тоже чернявый.

Пристав закатился в хохоте. Отсмеявшись, он подкрутил кончики пышных усов в торчащие вверх стрелочки и попробовал глубокомысленно наморщить лоб:

— М-да. Но агент имел в виду этого... как его... Свердлова. Он его опознал. От себя скажу, что наружность действительно типическая, сразу видать, что за жар-птица.

Следователь снова поджал губы и прицелился в пристава прищуренным глазом:

— Химера! Даже не «черный», а «чернявый»... Что вы, вашего агента в суде свидетелем выставите? Предположим, что этот несовершеннолетний юнец не догадается, так защитник, как дважды два, докажет, что в толпе находилось минимум,— следователь с удовольствием еще раз протянул это слово по слогам,— ми-ни-мум двадцать чернявых. Вы представляете себе толпу в шестьдесят человек из одних блондинов? Весь суд рассмешит. А потом еще добьет этаким невинным вопросиком...— Следователь заговорил гнусавым фальцетом, изображая защитника: — «Вы, господин свидетель, если не ошибаюсь, какое-то время по департаменту полиции числились?» Вот ваш свидетель и готов, спекся.

— Не посмеет! Да его тогда...

— Э, ничего «тогда» не будет! Весьма просто посмеет — не те времена, к сожалению.

— Да-а,— пристав грустно покачал головой,— времечко действительно, Семен Ипполитович, и не говорите. Голая суета. Препаршивое для нашего брата время... Однако бог не выдаст, свинья не съест. Давайте приступим?

...Свердлов по дороге в участок продумывал, как будет держаться, что говорить. Вспоминал рассказы «Деда» и других ссыльных о допросах, о тюрьмах и охранке, и все предстоящее ему в участке начинало казаться простым. Только не спешить с ответами, не волноваться. Главное — не волноваться. «Дед» учил: отвечать уклончиво или, еще лучше, все отрицать. То есть, значит, попал в толпу случайно: шел мимо вокзала от знакомых домой, увидел...

Но одно было представлять себе вообще участок, вообще прокурора или жандармского ротмистра, и другое — видеть рядом живого, топающего подкованными сапогами городового, от которого несет луком, перегаром и ваксой; идти полутемным гулким коридором с решетчатым пыльным окном вдали и очутиться в неожиданно светлой комнате с толстыми, как в тюрьме, сводами, ощущая на себе чей-то липкий взгляд, от которого нельзя так беззаботно отвернуться и уйти куда-нибудь на простор, к Волге.

За столом плотно сидел реальный пристав, аккуратно стриженный под бобрик, а сбоку, не сразу обнаруженный,— какой-то белобрысый, неопределенного возраста судейский чиновник с бесцветными студенистыми, как у мороженого судака, глазками.

Свердлов почувствовал, что все-таки волнуется, и потому резко шагнул к столу. Нарочито замедленным движением обеих рук освободил и передвинул пенсне повыше к глазам. Убрал руки за спину, вскинул голову и уставился взглядом в простенок между приставом и следователем.

Стало тихо. Только позади, за вышедшим на носках городовым, скрипнула притворенная дверь.

Пристав и следователь молчали, одинаково не спеша осматривая Свердлова с ног до головы.

Следователь отвернулся первым. Мальчишка, хотя и воображает! Держится, как невинный, а вид типический: косоворотка, брюки в сапоги, пенсне на шнурке. Но к суду за косоворотку не привлечешь. Не умеет полиция хватать кого надо!

— Тэк-с, молодой человек,— с укором проговорил пристав. Он поудобнее раздвинул локти и подпер рукой голову, подчеркивая этим, что готов терпеливо и даже не без интереса слушать.— Придется вам отвечать за свое безобразие в общественном месте, как-то: городской вокзал, городские улицы. Предупреждаю категорически; нам все известно, и ежели вы начистоту — почему и кто и тому подобное, это облегчит соответствующее наказание, кое...

— Господин пристав! — громко перебил Свердлов.

От неожиданности пристав опустил руку на стол и быстро повел взглядом по комнате, будто отыскивая, кто это еще появился здесь, кому принадлежит такой необыкновенно густой, басовитый голос.

— Я не намерен отвечать!..— так же громко продолжал Свердлов.

Следователь, сначала тоже почти с испугом взглянувший на пристава, теперь уставился на Свердлова, продолжая часто помаргивать белесыми ресничками.

— ...стоя! — отрывисто и звонко бросил Свердлов. Он дернул головой и отвернулся к окну.

Начав фразу, Свердлов еще не знал, как ее закончить. Он заговорил, чтобы перестать молчать. Надо было во что бы то ни стало освободиться от гнетущего ощущения и неизвестности, и своего бесправия, и даже бессилия.

Простой конец фразы и то, как ее восприняли пристав и следователь, внезапно обрадовали. Свердлов глубоко вздохнул и начал разглядывать комнату — мебель, стены, графин на столе, лампу.

— Ага! — как-то чересчур поспешно произнес пристав и показал на стул у стены.

— Я полагаю, что мы договоримся,— сказал следователь и обмакнул перо в чернильницу.

Первые традиционные вопросы, по мысли составителя протоколов, должны были усыпить бдительность допрашиваемого и дать возможность следователю внезапным и строгим вопросом по существу дела огорошить ответчика.

Но этого не произошло. Несмотря на, казалось бы, ничтожность короткой стычки с приставом на словах и взглядами, Свердлов бессознательно ощутил, что завоевал какую-то важную и нужную позицию. Он поправил стул, сел и скрестил на груди руки.

Следователь, скороговоркой спросив: «Фамилия, имя?» — начал что-то писать.

Свердлов посмотрел на него и усмехнулся.

— Я спрашиваю, как ваша фамилия,— раздельно повторил следователь.

Свердлов быстро наклонился к столу и снова выпрямился.

— По-моему, вы уже написали, и, значит, нет смысла отвечать.

— Смысла? — не вытерпел пристав.— Ишь ты, рассуждать! Тут не смысл, а форма. Извольте сейчас же отвечать! Вы в полиции, а не в университете!

Следователь зло посмотрел на пристава, отвернулся и демонстративно бросил перо на стол. Удивительно, как эти полицейские чины всегда мешаются не в свое дело! Ни черта не понимают, как с такими Свердловыми надо разговаривать, чтобы их поймать на слове, а лезут! Ну и пожалуйста!.. Впрочем, дело-то грошовое.

Следователь подобрал перо и положил его на подставку рядом с чернильницей.

Пристав не взглянул на следователя, а если бы и посмотрел, так ничего не понял бы в тонкостях следовательской игры. Он уставился на Свердлова по-совиному немигающим и пустым взглядом.

Свердлов помолчал, потом медленно положил ногу на ногу.

Пристав подергал воротник и оправил борт мундира:

— Тэк-с! Хорошо-с! — Он несколько раз хмыкнул носом.— Все равно ничего у вас не выйдет. Нам доподлинно известно, что седьмого сего ноября вы были в толпе на городском вокзале. Ведь были-с?

Свердлов подумал, что, пожалуй, отпираться не стоит — будет слишком явная ложь. Пожалуй, выгоднее представить все как случайность. Тем более, что, в конце концов, все-таки задержали и записали.

— Предположим, был. Случайно проходил мимо.

— Ага, проходили! Мимо! — Пристав с облегчением почувствовал точку опоры и продолжал повеселевшим голосом: — Проходили и увидели знакомого, а именно Пешкова Алексея Максимовича, коего правительство высылало из пределов города. Молчите? Тэк-с. А нам известно-о, что вы изволили с ним разговаривать.

— Не знаю Пешкова.

— Не знакомы?

— Не знаком!

Следователь решил, что ему неудобно молчать.

— Как нехорошо, молодой человек! — Следователь в сокрушении развел руками.— Вот вы говорите, что попали на вокзал нечаянно. Бывает. Однако вы остались провожать неизвестного вам человека и пробыли там, то есть в толпе, чрезмерно долго. Это, между прочим, легко устанавливается без вашего признания, так что вы, я бы сказал, необдуманно утверждаете, будто не знали высланного Пешкова. Нелогично.

— Факт! Попались, юноша! — Пристав неожиданно рассмеялся.— Вот и деваться некуда. Нет, нас на мякине не проведешь. «Не знаком»! Придумал!

Свердлов решил не отвечать, но не выдержал нахального тона пристава и горячо выпалил:

— Да, я был на вокзале и провожал русского писателя Максима Горького, над которым совершено насилие. И вы... Потому что вы боитесь именно Горького, а не Пешкова. Это ясно каждому...— он хотел сказать «идиоту», но остыл,— годовалому ребенку.

— Позвольте-с, позвольте-с! — Следователь поднял руку, метнул взгляд в сторону пристава.— Из ваших слов вытекает логическое следствие, что вы и прежде общались с Максимом Горьким.

— Каковой все равно поднадзорный Пешков! — Пристав победно вытаращил на Свердлова глаза.— Пишите, Семен Ипполитович: сознался, что знал, и тому подобное.

— Максима Горького вся передовая Россия знает,— спокойно сказал Свердлов и, не повышая голоса, добавил: — А писать вы можете что хотите, но я-то не обязан подписывать всякую чепуху.

— Молчать! Я покажу «чепуху»!

— А вы... если будете так себя вести, я предупреждаю, что не буду вообще ничего говорить.

— Позвольте, позвольте. Впрочем, как хотите.— Следователь отвернулся. Он хотел было... Да, если бы не крик пристава, можно было бы сразить вопросом: «А откуда вам известно, что на допросах не отвечают? Кто вас обучал?»

Следователь вздохнул и покачал головой.

Пристав встал и прошелся по комнате. На ходу он посмотрел на отвернувшегося следователя, дернул себя за ус и вновь сел за стол.

После паузы он взял в руку перо и подвинул к себе бумагу:

— Хорошо-с. Знаком или не знаком — это неважно. Были на вокзале — факт. И считаю установленным: секретно разговаривали с Пешковым, участвовали в этой, как у вас именуется, «демонстрации», то есть пели недозволенные песни и тому подобное. Ведь это всё факты, молодой человек?

Свердлов спокойно смотрел поверх головы пристава и молчал. Лицо его было неподвижным.

— Что же вы молчите? Подтверждаете?

— Нет,— равнодушно отозвался Свердлов после некоторой паузы.

— Нет? Любопытно. Не были на вокзале, не разговаривали!

— Был. Случайно. Может быть, разговаривал.

— О чем?

— Не помню.

— Тэк-с, не помните. А какие песни пели, помните?

— Не пел.

— Голоса нет? Ай, как жалко! Бог обидел?

— Бог тут ни при чем, а музыкального слуха не имею и слов не знал.

— Не запомнили слов! Ай-яй-яй, как обидно! А? Семен Ипполитович, все пели, а он, видите ли, слов не знал.

Свердлов едва заметно улыбнулся:

— Теперь две строчки запомнил...

Следователь встрепенулся и взялся за перо.

— «...Смело, товарищи, в ногу» и «Вставай, поднимайся, рабочий народ»! — как лозунг, сильно и скандируя, проговорил Свердлов.

— Вы это что, комедию ломать? — Пристав вскочил.— Да я вас...

Свердлов тоже встал:

— Больше ничего не скажу. Ни слова. И подписывать протокол отказываюсь.— Он обдернул косоворотку, застегнул пиджак.

Эти слова и этот жест он мысленно повторял уже много раз, когда представлял себя на допросах.

— Взять мерзавца! — рявкнул пристав.

Когда Свердлова вывели из кабинета, пристав посмотрел на следователя:

— М-да-с... Фрукт!

— Никакой не фрукт — мальчишка. Пока с чужого голоса поет.

Следователь молча завязал тесемки и отодвинул папку на дальний угол стола. Потом не спеша взял начатый протокол, разорвал его и поискал взглядом корзину для ненужных бумаг.

— Значит, так надо понимать, что, по-вашему, Семен Ипполитович, ничего не выйдет.

— А я так и предполагал.— Следователь пригладил волосы, взял свой стул, перенес его и подсел вплотную к приставу.— Видите ли, я тут подумал...— Следователь склонился к приставу и театрально, с ужимками развел руками.— Давайте рассудим. Ведь что у нас в результате может выйти? Господин прокурор, конечно, не примет такого сомнительного дела, он даже намекал на это. А его превосходительство господин губернатор...— Следователь поджал губы и потряс головой.— Если мы начнем, придется подробно сообщать в Санкт-Петербург, и нам, то есть губернатору, а следовательно, вам тоже,— разнос по всем статьям. Рассудите, что получается, если мы возбуждаем дело. Выходит, мы признаем, что да, действительно была манифестация, с которой местная власть не справилась, а полиция проморгала. Спрашивается, как так? Почему? Кто виноват? Ну, да не мне вам рассказывать, какая пойдет катавасия. Теперь обдумаем другой поворот. Никакого дела мы не возбуждаем. Почему? — Следователь отодвинулся и посмотрел на пристава.— А потому, что никакой демонстрации не было. Все выдумано либеральными газетами. Позвольте, позвольте — на вокзале были два-три крикуна, которых полиция своевременно арестовала. Между ними — один бывший гимназист Свердлов. И всё. Комар носу не подточит. Всем спокойно.

— М-да! — Пристав почесал затылок.— Вы так, значит... Действительно, может быть. И его превосходительство тоже распечет. А с другой стороны... Да-с, положеньице! Это — очень натурально!

— Вот именно, что логика!

— М-да...— Пристав походил по комнате.— А с этим... со Свердловым, как присоветуете, Семен Ипполитович? Фрукт ведь несомненный. И подучен.

— Очень просто: арестуйте для порядка своей властью на денек, чтобы охладить, так сказать.

— Это само собой. Обязательно. Но только обидно,

Семен Ипполитович: ведь мальчишка, а прямо скорпион! Ну, да я его не на денек, а уж на два. И потом на примету возьмем.

Двухдневный арест при полиции Свердлов пережил просто. Он с любопытством новичка вглядывался в убогую, замызганную обстановку полутемной приемной, в усатую, испитую рожу городового из отставных унтер-офицеров, листавшего толстую прошнурованную книгу с грязными, слипшимися на углах лохматушками страниц; изучал посеревшие, штукатуренные в прошлом веке стены с повешенными в самодельных рамках инструкциями, табелями имущества; внюхивался в затхлый, кисловатый запах арестного дома и никак не мог подобрать определения, чем же пахнет этот густой, сырой воздух.

Особенно гордиться будет нечем: попал, как говорят в народе про взятого полицией пьяного, «в кутузку». Вот словечко — кутузка! Однако унывать нечего. Во-первых, всего на два дня; во-вторых, случайность — значит, ничего не открыто и установить причастность к революционному движению полиция не может. А кутузка — что же, надо привыкать. И, оказывается, ничего страшного.

О своем первом допросе и знакомстве с арестным режимом Свердлов через два дня рассказывал Володе Лубоцкому даже весело. Представлял в лицах себя, моргающего следователя и румяного пристава с нафабренными усами.

Посмеялись и решили, что этот первый арест можно не считать арестом.

— Чепуха! — сказал Свердлов.

— И глупость,— добавил Лубоцкий.— То есть я говорю в том смысле, что ерунда.

Однако, выйдя через несколько дней из дому, Свердлов еще со двора приметил около ворот задумчивого коротконогого человека в драповом пальто с поднятым воротником. Как только Свердлов приостановился, человек в пальто ожил и, дернув плечом, по-военному круто сделал поворот кругом на месте. На вытянутой вверх огурцом голове качнулся надетый набекрень потертый котелок табачного цвета.

Мгновенно вспомнились панамка с сиреневой ленточкой и предупреждение Горького.

«Ага! Как пишется в пьесах: «Те же и он». Проверим».

Свердлов приосанился, подумав, что теперь он любого шпика распознает с первого взгляда. Что ж, это важно, пригодится. Интересно, откуда у этих субъектов страсть напяливать на себя невероятно крикливые вещи вроде этого котелка? «Дед» рассказывал, что к нему был приставлен шпик, который ходил в лимонных нитяных перчатках, с тростью в крапинках, а серые в полоску брюки пузырились на коленках и были обтрепаны внизу до бахромы. «Прекрасные идиоты» — это внезапно пришедшее в голову определение понравилось Свердлову, и он рассмеялся.

Настроение у Свердлова в этот день было радостное: накануне через Марусю Щепетильникову удалось достать глицерин и желатин для гектографа, а Вера Савина принесла штемпельной краски, и все это уже переправлено к Ростопчину — сегодня в ночь гектограф будет работать, и завтра через Белоусова союз приказчиков получит прокламации. Приятно, когда все выполняется в срок и как надо!

Свердлов прошел почти вплотную мимо коротконогого субъекта и не удержался, посмотрел в упор. Лицо у господинчика было землистого цвета, выделялся нос в красных прожилках да прыщеватый, несоразмерно большой подбородок. Поймать взгляд не удалось — субъект сощурился и отвернулся.

Свердлов пересек улицу и пошел налево, не оглядываясь. Миновав желтое каменное здание Драматического театра, он круто повернулся и, не останавливаясь, тем же скорым шагом пошел назад, к широкому и круглому, как башня, афишному столбу.

Господин в котелке от неожиданности пролетел мимо, едва не наскочив на Свердлова. Через минуту он, похлопывая себя по карманам, затоптался на месте, вытащил апельсинового цвета коробочку с голубой наклейкой на крышке: «Папиросы Дюшес, 10 штук 6 копеек», закурил и как ни в чем не бывало, надвинув котелок почти до бровей, подошел к афишам с другой стороны.

Свердлов шагнул вправо, как бы собираясь читать все объявления и афиши подряд. Котелок тотчас отшатнулся в том же направлении.

Все ясно: шпик, и интересуется Свердловым. Ну что ж, — у Свердлова до вечера никаких экстренных дел, можно и походить по городу часика два, погода хорошая —

вьется хрусткий снежок, в карманах, кажется, ничего компрометирующего — Свердлов сунул руку за пазуху — нет. Пошли!

Свердлов вышел из-за столба. Можно, конечно, шмыгнуть в один из проходных дворов, но стоит ли? Не лучше ли поводить? Пусть-ка попыхтит.

Он начал делать то длинные, то короткие петли, выбирая нагорные переулки и улицы покруче, заходил на бульвар, присматривался к сидящим на скамейках, будто искал кого-то, обошел Острожную площадь и тюрьму. На поворотах и переходя внезапно под прямым углом улицы, он искоса взглядывал в сторону шпика. Шпик шел следом в двадцати — тридцати шагах.

Пришла на ум мысль: не воспользоваться ли случаем и проверить, действительно ли господа шпики боятся показываться внизу, около Волги?

Свердлов хорошо знал прибрежные тесные проулки. Здесь, в гуще ларьков с рухлядью или копеечной снедью, в сомнительных чайных и ночлежках, среди курятников и деревянных сараев, использованных тоже под людское жилье «за грош на ночь, с кипятком», даже городовые избегали появляться в одиночку. На десяток здешних обитателей — бурлаков, крючников, водоливов, скупщиков старья, жестянщиков, лудильщиков, холодных сапожников, шарманщиков и откровенных нищих-пропойц — девять были беспаспортными, заблудившимися в жизни людьми. Но трогать их здесь, на месте, полиция избегала.

«Одно слово — галахи, вашбродь,— говорили опытные служаки новичкам участковым надзирателям. —Притом артельный народ и отчаянный. Под какую руку попадешь, а то и ног не унести».

Такая слава этих мест иногда использовалась в подпольной работе. Прошлым летом Свердлов дважды выполнял здесь поручения подпольщиков. В одной из чайных, на хозяйской половине, в комнатке с кисейными занавесками и огненной геранью на подоконниках, он встретился с помощником механика с парохода «Виссарион Белинский» и получил тюк нелегальной заграничной литературы, посланный через Самару. Во второй раз на берегу, среди поленниц пахучих березовых дров, Свердлов передал в руки бородатого угрюмого матроса с буксира «Воробей» пачки прокламаций для Костромы.

Говорили, что шпики избегают прибрежных мест, бро-

сают слежку, но испытать, так ли это на самом деле, Свердлову не приходилось. Взяв направление через овраг Балчуг, он пошел медленнее, часто оглядывался.

Вскоре шпик начал проявлять беспокойство: он снимал котелок, обтирал голову и шею клетчатым платком, озирался, но все-таки шел, все больше отставая. Когда Свердлов, прибавив шагу, устремился к дальней грузовой пристани, шпик не выдержал — плюнул и полез обратно в гору. Пройдя за пристань, Свердлов поискал взглядом, где бы притулиться, и устроился на борту черного, ободранного дощаника, вытянутого на берег и густо запорошенного снегом.

Прибрежный лед был пустынен, вблизи не видно даже озорных раскатистых мальчишеских следов. На Волге тишина, и лишь на стрежне шумит, если присмотреться и прислушаться, черная, тяжелая вода.

Стало зябко, но уходить не хотелось — чем-то влекла к себе взгляд сумеречная белая равнина с редкими черными пятнами кустарника в Заволжье. Далеко влево, на волнистом снежном берегу, тоже как кустарник, обозначался сормовский лесок. Да и нельзя сейчас уходить, надо выждать, пока шпик уйдет в лабиринт городских перекрестков.

На протоке будто выдавалась из воды остроносая лодка. Она медленно плыла вправо. Кто-то качнул на ней зажженным фонарем, прошел вперед и словно прилепил огонек к борту.

Свердлов долго провожал лодку взглядом. Потом отвернулся, медленно вслух произнес:

— Теперь, наверно, не скоро увидимся, Алексей Максимович,— и вздохнул.

Для него Горький значил многое. И как автор «Старухи Изергиль», «Песни о Буревестнике» — передовой писатель и журналист, и как Алексей Максимович. Именно он, Алексей Максимович, которого знала мать Якова, однажды подсказал, что хорошо бы организовать кружок молодежи, который, «знаете ли, Свердлов, мы с вами могли бы преотличнейше снабжать полезными книжицами».

Свердлов тогда сразу загорелся идеей, а Горький заходил по комнате большими шагами да и развил свою мысль во всю ширь:

«Я имею в виду не одних гимназистов, то есть вообще учащихся, которых, к сожалению, учат не тому, знаете,

что необходимо для познания жизни; с ними вы, Свердлов, легко сговоритесь,— а хорошо бы зацепить и поглубже. О рабочих я не говорю. Да-с, тут особое дело. И не для вас пока. А вот имеется несосчитанная армия учеников ремеслу. Великолепный народ! И самая забитая нация, которая жизнь в самом подлом обличье видит, а об иной и понятия не имеет».

Этот разговор не мог остаться без последствий. Он слишком взволновал гимназиста Свердлова возможностью действовать как-то особенно интересно. Разговор был чем-то близок к прочитанным книгам Добролюбова, Чернышевского, Герцена — и, значит, к заветной мечте, рожденной еще «Оводом» Войнич и «Андреем Кожуховым» Степняка-Кравчинского: стать борцом за народные права. Столько было передумано потом в одиночку над «Программой рабочих» Лассаля, «Эрфуртской программой» Каутского и книгами Плеханова. Все обсуждалось потом... на чердаке у Лубоцкого, в мастерской отца с учеником гравера Яшей, с молодым наборщиком Ваней Сазоновым!..

Да если вспомнить, так и знакомство с «Дедом» тоже не обошлось без Алексея Максимовича.

И не этим ли всем решилось главное? Ведь только кажется, будто жизнь складывалась сама такой, какой она получилась, и иной быть не могла!

Свердлов сидел на дощанике, охватив колени руками, и, слегка покачиваясь, смотрел на дальний берег. Он видел уходящую вверх белизну и одновременно видел Горького, шагающего по комнате, себя, сидящего на краешке стула около книжного шкафа, и товарищей в мастерской отца... И было ясное ощущение, что вот окончился какой-то период — хороший, но уже отдаленный,— а начался новый, и этот новый этап и есть уже настоящая жизнь.

Так же как знакомство с Горьким, организация кружков, печатание на гектографе прокламаций, тайное изготовление по ночам штампов и печатей в отцовской мастерской и особенно работа пропагандистом в Сормове каждый раз чеканили и укрепляли мысли, обогащали опытом, точно так же и допрос в участке неожиданно позволил ощутить себя взрослым.

Вот и первый в жизни арест связался опять с ним же, с Горьким.

Впрочем, ведь решено, что этот арест пустяк, к тому

же он в прошлом, а думать о прошлом не стоит. Да-с, Яков Михайлович, у вас все впереди. Надо только работать и поменьше философствовать.

Свердлов улыбнулся, вспомнив, что и об этом Горький ему как-то сказал:

«Человек, знаете, живет, чтобы действовать. Самое позорное в наши дни — остаться Обломовым. Боритесь, Яков, растите в себе Человека».

Свердлов соскочил с дощаника и, распрямившись, крикнул:

— Мы еще увидимся, Алексей Максимович, но совсем при иных обстоятельствах!

Он резко повернулся к раскинутому широко по горе темному городу. В домишках кое-где тусклыми угольками вразброд теплились оконца.

Свердлов вдруг вспомнил, что сегодня в сумерки он условился с Павловым быть на явке у Чачиной. Пригнувшись, он бросился к взвозу напрямки, мысленно ругая себя за недостойное легкомыслие.

Шпик доложил своему начальнику, жандармскому ротмистру, о неудачной слежке:

— Только что молодой, ваше благородие, а, между прочим, по всей повадке похоже — ученый социалами.

— Молод, говоришь? А как?

— Только что при очках, но мальчишка по всей форме, лет на семнадцать от силы...

— «Только что»! — передразнил ротмистр и брезгливо оглядел подчиненного.— Иди. Запишешь там приметы и скажешь нашему делопроизводителю, что кличка... м-м...— ротмистр пощелкал пальцами,— кличка будет «Малыш».

В соседней комнате, узкой и тесной, как тюремная камера, с решеткой на окне и обитой оцинкованным железом дверью, делопроизводитель положил бумажку с приметами Якова Свердлова в одну из папок охранного отделения и запер ее в стальной шкаф, вмазанный в толстую каменную стену.

На бумажке каллиграфически, с завитушками, после фамилии, адреса и клички было записано: «Роста среднего, брюнет, лицо чистое, глаза большие, носит светлые очки и пенсне, походка частая, одевается по-разному».

В тринадцатом номере «Искры» Ленин отметил проводы Горького на вокзале и вечернюю демонстрацию в Нижнем как начало подъема волны народных протестов против царского произвола в России.

В искровской хронике революционной борьбы было кратко упомянуто об аресте полицией за участие в демонстрации бывшего гимназиста Свердлова.

4. БУДНИЕ ДЕЛА

Секретарь подпольного нижегородского комитета РСДРП Чачина была недовольна приходом Павлова.

Митя Павлов, в прошлом рабочий Балтийского завода, а теперь пропагандист и организатор нескольких рабочих кружков в Сормове, вошел, как и следовало приходить на явку в библиотеку, под вечер, перед самым закрытием, когда Ольге Ивановне оставалось отпустить немногих последних посетителей.

И одет он был неприметно, но аккуратно, даже галстук бабочкой — скорее приказчик, чем рабочий, — и, войдя, сразу начал рыться в стопе книг, разложенной на прилавке, вытаскивая и перелистывая одни лишь пухлые и потрепанные романы с пожелтевшими страницами. Все равно Чачина, уйдя в лабиринт стеллажей, громко оттуда проворчала:

— Прямо удивительно: библиотека открыта целый день, а люди обязательно являются, когда пора вешать замок!

Павлов прикрылся развернутым романом Мопассана с яркой брюнеткой в огромной шляпе со страусовым пером на обложке и, согнувшись, чтобы стать менее заметным, отошел в конец очереди. Не отнимая книги от лица, он заулыбался и, подмигнув самому себе, неожиданно сладким тенорком ответил:

— Извините-с. Да я не задержу-с. В другое время нам, знаете, очень некогда, а читать больно хочется.

Пришедшая минутой прежде Павлова рослая гимназистка с двумя короткими, распушенными на кончиках косами живо обернулась и сочувственно шепнула:

— Становитесь передо мной. Ничего не будет: Ольга Ивановна добрая.

— Нет, зачем же-с,— сказал Павлов отчетливо, без учтивости и отступил подальше.

Гимназистка надменно повела головой и перекинула косы на грудь.

Чачина догадывалась, почему пришел Павлов, и предстоящий разговор не сулил ничего хорошего. Неприятность заключалась в том, что, хотя на улице первые декабрьские морозцы, пора было готовиться в Сормове к Первому мая, и в этом Павлов был прав, а решения комитет никакого не принял.

Простое и ясное дело запуталось в дебрях оговорок, взаимных обвинений и приобрело принципиальный характер.

— Мы, как известно, городская организация,— заявил на заседании постоянный оппонент искровцев, помощник присяжного поверенного, выпрямляясь и округлым движением высвобождая шею из высокого крахмального воротничка, стянутого пунцовым галстуком с белыми искрами,— а отсюда вытекает кристально ясное положение: наше поле деятельности — Нижний Новгород. При чем здесь Сормово? Не понимаю!

— А Сормово что — Франция? — сразу озлился тогда Павлов. Он не был членом комитета, пришел лишь поставить свой вопрос о Первом мае и неожиданно для самого себя выскочил. Смутившись, он пробормотал глухим голосом: — В общем, предлагаю считать наше Сормово пригородом, что ли.

— Простите, это Канавино — пригород, а Сормово — поселок фабричного типа,— адвокат снисходительно улыбнулся в сторону смущенного Павлова,— но подождем спорить. Я, господа, имею высказать и другие, не только юридического характера, соображения. Пункт второй моих предварительных возражений таков: участвуя в Сормове, мы, естественно. срываем организацию демонстрантов в Нижнем. Но ведь получится, господа, явная нелепость.

Однако и это еще не все. Пункт третий: я полагаю, что наше участие в сормовской демонстрации придаст сугубо политическое значение невинному по своему существу и традициям семейному гулянью рабочих на лоне природы.

— Бросьте пороть чушь! Обуховцы в прошлом году показали...

— А первомайская демонстрация в Тифлисе с политическими лозунгами!

— Товарищи, дайте Михаилу Сергеевичу высказаться, так нельзя!

— Да-да, прошу. Покорнейше прошу, господа, меня не перебивать. Мы не митингуем, а рассуждаем о деле, имеющем некоторое, на мой взгляд, принципиальное значение. Например, здесь говорилось — лозунги. Спрашивается, какие? «Долой самодержавие», как это выкрикнул наш весьма горячий юноша Свердлов на проводах Горького? Скажете — смело, революционно? Нисколько, потому что, мягко выражаясь, несерьезно. Да-да, несерьезно, чтоб не сказать больше. И надо же понимать, в конце концов, что удельный вес такой общественной организации, как наш комитет, определяется не лозунгами, а той реальной пользой, которую мы обязаны — и, я утверждаю, можем — принести рабочим в их борьбе за существование.

— Вы считаете себя, кажется, марксистом? — спросила тогда Чачина.

— Позвольте,— оратор нервно подергал галстук,— я не совсем понимаю ваш вопрос.

— Могу объяснить,— так же спокойно, но уже повысив голос, сказала Чачина.

— Погоди, Ольга Ивановна! — почти крикнул белокурый студент в распахнутой тужурке.— Вы ответьте на вопрос: верите вы в пролетариат? Да или нет? — Студент, изогнувшись, застыл с протянутой рукой.

— Сейчас. Пожалуйста.— Адвокат кашлянул, стараясь успокоиться, повертел головой и посмотрел мимо Чачиной.— Да, я марксист, безусловно марксист.

— Черт знает что такое! — воскликнул студент и, громыхнув стулом, сел, отвернувшись от стола.

— Теперь я отвечу вам, товарищ Борис.— Оратор сделал паузу.— Дело в том, что, к моему сожалению, в России нет пролетариата. Хотите вы этого или нет, Россия — крестьянская страна. Допустим, допустим... Даже если принять во внимание небольшой процент рабочих, то по своему существу они те же крестьяне, временно — я подчеркиваю: временно — ушедшие от земли из-за неурожая и еще почему-либо, а мечта этих ваших рабочих — заработать на стороне, елико возможно скорее в деревню вернуться и пахать землю-матушку, свою исконную кормилицу. Да-да, имейте в виду, что Россия не

Европа, у нее свой путь развития, она минует капиталистический путь — капитализма у нас нет, и если будет необходима революция, то ее произведет крестьянство. Вот какова наша история! Основа основ, господа,— крестьянская община, а если вы хотите выварить мужика в фабричном котле, то есть разорить крестьянское хозяйство, так это гибель России, ибо сила наша в мужике...

— Чушь! Давно разоблаченная «Искрой» чушь!

— Марксист, а? Да где вы вычитали у Маркса...

— Это безобразие, товарищи, этого так нельзя оставить!

— Пора поговорить начистоту и сорвать кое с кого овечьи маски!

— Это оскорбление, господа!

Люди повскакали со своих мест и, сбиваясь в группы, размахивая руками, не очень хорошо слушая друг друга, выкрикивали фразы. Наспех и потому неточно цитировали Маркса, Энгельса, Плеханова, а это давало возможность обвинять друг друга в невежестве, в политиканстве и накаляло обстановку.

— У вас нет своего мнения, и что скажет «Искра»...

— «Искра» — орган партии...

— Не признаю! По «Искре», революция будет завтра!

— По-вашему, ее никогда не будет!

— Плеханов писал...

Это было время между I и II съездами РСДРП, когда устав и программа партии не были выработаны, а в местных организациях царил идейный разброд. Недавно организованная Лениным газета «Искра» еще только собирала, сплачивала и вооружала своих последователей подлинно революционным марксизмом, а на местах в комитетах еще действовали значительные группки из бывших народников и «экономистов» и даже «революционеров вообще», которые называли себя марксистами лишь потому, что, не упоминая имен Маркса и Энгельса, нельзя было прослыть передовым человеком. Отголоском начинавшейся открытой борьбы этих групп с искровцами и явилось заседание нижегородского комитета, на которое попал Павлов.

Хмурый, он посидел в уголке около двери, понаблюдал, кто и как высказывается, и, не дождавшись конца споров, выскользнул из комнаты. Он зашагал по ночным

улицам в наспех накинутом на плечи осеннем пальто, не чувствуя мороза.

«Как же так?.. Ведь это... марксист, а! Хорошо, что один... «В России нет пролетариата»! Его бы к нам в Сормово, в гущу,— увидел бы, каков сейчас рабочий. Одни перья остались бы!»

Чем дальше уходил Митя Павлов от города, тем яснее и спокойнее становились мысли. За Канавином он уже произносил уничтожающую речь, после которой адвоката выгнали бы с позором. Глупо, что не сказал. Надо было выступить. Эх! Ну да ничего, поговорим еще.

На следующий день Павлов порасспросил кое-кого из кружковцев о настроениях в цехах, вызвал на вечер к Веденяпину Свердлова. В укрытой на огороде за ветлами и кустами старого орешника баньке было единогласно решено демонстрацию готовить обязательно с политическими лозунгами и вообще держаться «Искры».

Чачина тогда, на заседании комитета, в горячке споров не заметила исчезновения Павлова и теперь, доставая читателям с полок книги, нервничала: придется оправдываться, это она чувствовала, а признавать за собой вину вроде и не в чем — она-то сама за демонстрацию! Как глупо все получается!

Гимназистка сдала «Дворянское гнездо» Тургенева, сказала Ольге Ивановне несколько восторженных слов о прочитанном романе, забрала с радостью том Гончарова с «Обрывом» и, посмотрев на Павлова через плечо, стуча каблучками, вышла.

Павлов аккуратно положил роман Мопассана на прилавок. Чачина прошлась к окну, проверила, накинут ли крючок на створчатых белых ставнях.

— Вы простите, товарищ Чачина, поговорить потребовалось,— вздохнув, сказал Павлов.

— Так срочно?

Павлов промолчал.

— Если коротко, говорите сейчас.— Чачина дернула и отпустила шнурок; серая коленкоровая штора, развернувшись, стукнула планкой о подоконник.

— Не выйдет коротко-то. Серьезный разговор.

Чачина повернулась к Павлову и, прищурившись, смерила его с ног до головы:

— А вы соображаете что-нибудь, Павлов? Вы же пришли в библиотеку, а не чай пить...

Павлов махнул рукой и не то улыбнулся, не то поморщился:

— Проверял. Ни одного горохового черта не видно, на дворе погода.

— Не было, а когда входили в дверь, мог появиться. И, кроме того, здесь люди были!

— Ладно, выйду... А через двор вернусь.— Павлов качнул головой, показывая на стену с голландской печью, за которой была комната Чачиной.— Можно?

— Открою сама, не стучите.

Комната у Чачиной была с высоким потолком, но узенькая, как коридор. Слева, подле двери,— на табуретке эмалированный таз с кувшином, за выступом печки — кровать, накрытая белым тканьевым одеялом, этажерка с книгами и комодик с тюлевой накидкой, флаконом и простеньким зеркальцем; у окна — некрашеный кухонный стол под синей с зелеными и красными полосами, как плед, скатеркой, с чернильницей и лампой, по правой стене — три стула в ряд, и над ними в черной багетовой раме литографированный портрет Белинского.

Войдя в комнату, Павлов оглядел белый потолок, глянцевитые обои с букетиками розовых цветов и, чтобы ободрить себя, проговорил первое, что пришло в голову:

— Чисто живете, Ольга Ивановна, как...— Он хотел сказать «как в монастыре», но это явно не годилось.

Чачина плотно прикрыла дверь, присела на дальний конец кровати, прислонившись к спинке.

— Садитесь, Павлов, к столу и рассказывайте, что у вас.

Павлов опустился на стул у стены и потер руки. Он как-то не предполагал, что будет так трудно начать разговор. О словах, которыми следует рассказывать про совещание на огороде у Веденяпина, прежде не думалось, в мыслях все было просто,— сейчас начальная фраза никак не складывалась. Ведь нельзя бухнуть: «Вы как хотите, а мы, сормовичи, решили...» Так будет нескладно, потому — не к постороннему человеку пришел, нехорошо ультиматум предъявлять! А по существу так оно и есть — на огороде все говорили решительно.

Чачина искоса взглянула на Павлова, который попрежнему сидел ссутулясь и, сложив руку лодочкой, потирал коленку.

— Я жду. Вы что-то долго собираетесь с мыслями.

— Да нет, что же собираться...— Он поднял голову.— Вернее будет сказать — поджидаю...

Чачина с недоумением посмотрела на Павлова, пожала плечами, что могло означать и недовольство и безразличие.

— Свердлова, говорю, поджидаю.

— Вот как? Я, признаться, не совсем понимаю зачем, но это ваше дело. Кстати, как он?

— А почему вы спрашиваете?

— О нем разные мнения.

— «Горячий юноша»? Кричит: «Долой самодержавие»? Это я слышал.

— Оставьте, Павлов, вы зря помните, что не нужно.

— Нет, такое нужно крепко помнить!

— Хорошо. Допустим. Вы правы — я понимаю, на что вы намекаете,— но комитет, в общем, доверяет Свердлову, хотя он действительно... еще неопытен и горячий.

— А я вот спрошу: вы, конечно, знаете про сормовскую типографию, а знаете ли, где она и кто в ней работает?

— Именно! Вы очень кстати напомнили. Как такие серьезные вещи делаются? Сначала вопрос решается принципиально в комитете...

— Комитет год спорил бы, нужна или не нужна Сормову своя типография, тут — пожалуйте.— Павлов откинулся на спинку стула и заулыбался.— Молодцом он — в два счета и помещение и оборудование.

— И вы не знали?

— Знал.

— А молчали?

— Молчал, потому правильно.

— Тогда зря меня сегодня спрашиваете.

— Потому, товарищ Чачина, сказал, что понимаю так: вы Свердлова в горячности упрекаете, а на вашем языке это обозначает, что, мол, горячий человек плохо конспирацию соблюдает и это последнее дело — может всю организацию в любой момент под провал подвести.

— К сожалению, так это и бывает. Это очень верно, Павлов.

— К тому я спросил, что все в точности, где она, типография, помещается, только три человека знают: Свердлов, молодой один рабочий Степан и Катя Одинцова — та девушка, что печатает. Между прочим, замечательная

девушка, очень подходящая для этого дела. И заметьте — одна молодежь, про которую полиции и в башку не придет, что они такими делами могут заниматься. А где эта самая типография, вы не знаете, комитетчики не знают и я не знаю! Погодите! Тексты вы мне даете? Готовое получаете? А остальное десяткам людей знать не к чему. Вот она где, конспирация!

— Ну, это еще... Один случай ничего не доказывает, а что Свердлов очень-очень молод — со всеми последствиями отсюда: и горячность, и мальчишеская романтика, и так далее,— это необходимо иметь в виду. Я даже против, если хотите знать, что он ведет у вас кружки. Рано! Ему мелкие поручения под силу или работа с учащимися... Не поймите меня превратно, Павлов. Я ценю Свердлова, он честно рвется к настоящей деятельности, но пока...

В ставню несколько раз с перерывами постучали. Чачина встала, подала с этажерки на всякий случай Павлову «Мертвые души» и вышла. Она возвратилась очень скоро, взволнованная и побледневшая. За ней как-то боком в комнату втиснулся смущенный Свердлов.

В коридоре он извинился перед Чачиной за позднее посещение и, особенно не задумываясь, даже с улыбкой, пояснил:

— Один шпик тут помешал...

А Чачина шепотом перебила:

— Что-о? — и метнулась в комнату.

Свердлов пробормотал ей вслед, что она не поняла и встреча со шпиком была раньше, днем, и, покраснев, нерешительно ступил за порог комнаты.

— Вот, пожалуйста,— сказала Чачина Павлову,— его задержал шпик!

Павлов широко раскрытыми глазами посмотрел на Свердлова, приподнялся, но спросил спокойно:

— Где?

Свердлов живо притворил дверь:

— Да нет же, пустяки. То есть для вас пустяки, а вообще... И вообще, по-моему, тоже...

Чачина подчеркнуто резким движением отвернулась и села на прежнее место, привалившись к спинке кровати.

— Это только для вас, Свердлов, все пустяки. Рассказывайте!

Свердлов оглянулся на стул, но не сел. Он обдернул

рубашку и, перебирая кисточки пояса, неожиданно улыбнулся:

— Они действительно глупые, шпики.

— Рассказывайте по порядку, как было,— повторила Чачина мягче.— Мы как-нибудь сами разберемся.

Свердлов сел. До своего ареста он, вероятно, задумался бы, не совершил ли какого-нибудь ребячества, если Чачина с таким недовольством его встретила. Теперь, чувствуя себя окончательно взрослым, Свердлов воспринимал суровость приема не как осуждение его поступка — что же здесь осуждать? — а только как беспокойство секретаря комитета за товарища по работе.

Он почувствовал себя сразу свободно и рассказал с подъемом, весело, как петлял по нагорным улицам и переулкам, как тащился, вытирая голову клетчатым платком, шпик. каков по внешности этот коротконогий тип в котелке табачного цвета; в конце сообщил, что верно — шпики боятся прибрежных мест. Сказал об этом без улыбки, деловито, потому что считал это во всем происшествии самым важным.

Во время его рассказа Чачина меняла позы, поглядывала на Павлова, а когда Свердлов закончил, назидательно вытянув указательный палец, повела рукой по направлению к Павлову и жестко сказала:

— Вот вам, пожалуйста, прекрасное подтверждение!

— Не согласен,— возразил Павлов,— никак не согласен. Это, как бы сказать, вроде наоборот.

Свердлов подождал, не понимая, на что намекают друг другу Чачина и Павлов, но они замолчали, и Свердлов отнес реплики к какому-то спору, возникшему до него и, вероятно, не имеющему к нему, Свердлову, прямого отношения. Вдруг подумалось: «А что, если разговор о демонстрации уже был?» Свердлов, насупившись, бычком посмотрел на Чачину.

Павлов, словно читая его мысли, сказал:

— Ольга Ивановна, теперь бы о деле...

Чачина, смотревшая до этого куда-то на лампу, стоящую на дальнем углу стола, как маяк на скале, поднялась и, пройдя к этажерке, обернулась, постояла с поднятой головой.

— Когда я отбывала ссылку в Казани и Уфе, нас учил...— она зажмурилась, подумав, не назвать ли попросту имя Ульянова,— один человек учил, что револю-

ционеры не должны ходить друг к другу как знакомые, а лишь для дела. Я знаю, о чем вы пришли говорить, Павлов: о демонстрации. Правда? Так никакой торжественной конференции не требовалось — демонстрация в Сормове должна быть и будет, это ясно как день. Знаю, Павлов, знаю!

Все вы какие-то чересчур горячие.— Лицо Чачиной засветилось неожиданно молодой и даже чуть-чуть задорной улыбкой.— Большинство-то в комитете наше! Готовьтесь. Пискунов, Лопата, я — мы вам поможем. Разве может быть иначе!

Павлов взъерошил волосы, встал и снова сел, посмотрел на Свердлова веселыми голубыми глазами:

— Вот это дело, Яша! Мы так закрутим, что не меньше...— он задержался и не совсем уверенно закончил,— тысячу выведем. Главное, чтобы от каждого цеха вывести, чтобы зашевелились мысли в головах.

Свердлов и Чачина переглянулись и захохотали. Лицо у Павлова порозовело, но он тут же вскочил, протянул вперед руку и, тоже смеясь и стараясь перекрыть хохот, проговорил:

— Да ведь скажешь тысячу, а выйдет две. Что тогда будет кое с кем? А выйдут! — успокоившись и уже серьезно закончил он.

Стал серьезным и Свердлов. Он подошел к столу и в тишине, как бы раздумывая, сказал:

— Мы решили еще...

— Лозунги политические! — перебила Чачина.— Обязательно. Как и что — мы договоримся на месте. Через месяц соберете старост всех ваших кружков и еще кое-кого из самых надежных, самых крепких. Найдите место, обдумайте охрану, ну и так далее.

Разговор, представлявшийся всем троим долгим и трудным, вскоре закончился, и настроение у всех стало бодрым, как в хорошее праздничное утро.

А на улице начиналась метель. Как только Свердлов вышел из ворот, неслышный порыв ветра сбросил на него с угла крыши охапку снега и умчался. Свердлов весело встряхнулся, поднял воротник и зашагал. Мороз показался мягким; крепко пахло зимой, густо падал снег, громоздясь сугробиками на фонарях, ветках деревьев,



в углах оконных рам — всюду, где только можно зацепиться. В бесшумном мелькании хотелось идти, не очень заботясь о времени.

На перекрестке снежная стена вдруг понеслась вбок, подбивая полы пальто, отгибая воротник, и стало не до любования — в пору устоять и, пригнув голову к плечу и этим плечом — вперед, пробиваться в затишье твердыми от усилий шагами.

За углом снова тихо, как в лесу; слышен хруст шагов. Можно ловить на протянутую руку снежинки. Свободно дышится. Хорошо думать.

Вспомнились давние восхождения во дворе на сугробы, запорошенные голубые ели на катке и будто неожиданные встречи.

Все-таки чудесная пора — детство! Но и сейчас... Сейчас тоже хорошо. Пожалуй, лучше, потому что интереснее. Сколько замечательных людей! Павлов настоящий. И Чачина... Чачиной можно вполне довериться. Потом, оказывается,— как она заулыбалась! — оказывается, в ней есть огонек. Если без увлеченности, тогда какой же революционер!

Свердлов теперь любил всматриваться в людей и посвоему оценивал их. Но ему не приходило в голову размышлять над тем, какое место он сам занимает среди окружающих и как к нему относятся в комитете. Не задумывался потому, что ведь главное в жизни — работать на революцию, а он это и делает. Именно этим и живет. Мелкие поручения? Да он готов доказать — и доказывал, не себе, конечно, а тем, в ком замечал легкомыслие,— что в трудной подпольной работе нет мелочей, раз это борьба за революцию, и каждая удачно подкинутая прокламация, каждая собранная на «Искру» копейка — удар по крепости ненавистного самодержавия, это вербовка десятков, сотен людей в армию восстания.

Вторым, а для себя таким же главным Свердлов считал изучение статей в «Искре», работ Ульянова, Маркса и Энгельса. Не только потому, что это требовалось ему для руководства кружком в Сормове или могло помочь разбираться в происходящих политических спорах, — нет, чтение вскрывало действительность, и, сидя за полночь в тихой комнате над «Капиталом», Свердлов ослепительно четко видел, что двигает жизнь человеческого общества, понимал, что происходит и что неминуемо произойдет.

По-настоящему ради коммунизма только и стоит жить. Но как много еще нужно сделать!

Свердлов ускорил шаги — сегодня можно начать конспектировать книгу «Развитие капитализма в России». Книгу удалось-таки достать на целых четыре дня. И самодельная маленькая тетрадь припасена. Она лежит вместе с книгой в чулане, в правом дальнем углу, за дровами, под завернувшимся краем рогожки, еще прикрытая двумя щепками. Пусть себе валит снег, пусть метет — никто не придет, не помешает.

Однако конспектировать не пришлось. Свердлов вошел в свою комнату, и радужное настроение исчезло. В комнате на стульях рядышком сидели Сара и девушка в распахнутом овчинном полушубке, повязанная серым рябеньким полушалком.

Свердлов так гневно нахмурился, узнав Катю Одинцову, что девушка, вставая, в замешательстве опрокинула стул. Сара, вздернув брови, как воробей вспорхнула с места к двери. На пороге она обернулась:

— Ты ничего не думай! Папы нет. Я посижу в столовой и буду вслух громко-громко учить историю. Понимаешь?

Деловито проговорив это почти на одной ноте, Сара попятилась и быстренько закрыла дверь.

— Я же говорил,— Свердлов сделал шаг к Кате и остановился,— нельзя вам приходить сюда! Ни при каких обстоятельствах нельзя. Вы понимаете, что такое ваша типография?

— А как же,— сказала от растерянности шепотом Катя.

Свердлов натолкнулся на Катин отчаянный взгляд, покраснел. Он вспомнил, как его несколько часов назад встретила Чачина, и вдруг отчетливо понял, чего не сказала Чачина: она не назвала его поступка в истории со шпиком настоящим именем, а это, конечно, было чистое мальчишество. Показное удальство. Он исподлобья посмотрел на Катю и отчетливо разглядел в ее глазах обиду. Она-то не из удальства пошла. Мало ли что могло случиться. Впрочем, если полиция, Катю забрали бы.

— Мы, кажется, условились, что нельзя.

Катя, уловив его смущение, сразу и обиделась и вознегодовала:

— Надо бы спросить прежде, а не так... Не по пустякам заявилась. Все очень великолепно понимаю, а вот пришла — значит, такой случай.

— Ну хорошо, хорошо. Что же сделаешь! Садитесь, раз пришли. Только тихо и быстро: что?

— Сломалось.

— Что именно? Где?

— Не знаю.

— Ну вот!

— Не знаю, потому что опять же вы запретили самой разбирать, а теперь укоряете.

— Мало ли что запретил. Вы не посчитались — пришли.— Свердлов улыбнулся, глядя на горящее от волнения и деловитости Катино лицо. Светлая прядка волос выбилась из-под полушалка и, видимо, щекотала лоб — Катя смешно морщилась. Она несколько раз отбрасывала пальцами завиток кверху, а он возвращался; надо было освободить платок, завязанный узлом назад, но Катя не решалась сейчас заниматься своим туалетом.— Вы пришли, а, вероятно, лучше было бы наоборот, если уж не слушаться. Разобрали бы — может, там пустяк. Говорю на будущее, и поставим здесь точку. Ладно? Теперь по секрету скажу: вы, Катя, хорошо сделали, что пришли. Это первый, по-моему, закон для подпольщика: взялся — и никто, никакие самые распронеожиданные обстоятельства не должны помешать выполнить партийное поручение. Верно? Разве что арест, да и то как сказать.

Глаза у Кати посветлели.

— В общем, так, Яков Михайлович, получилось...

И Катя рассказала, как вчера набрала текст, немного попечатала, а потом устала, отложила работу на сегодняшний день, поскольку сдавать листовки все равно завтра.

— А машина закапризничала,— сказала Катя, вновь повышая голос,— вроде что-то стукнуло — и ни с места. Степан-то Пономарев в обед завтра придет, куда условлено! И я знаю, что очень нужно.

Катя сжала пальцы в кулак и рывком опустила, словно отряхнула что-то прилипшее к руке.

Свердлов подождал, кивнул головой:

— Листовки необходимы. Что ж... пойдемте! Вы подождите, я сейчас оденусь.

Когда Катя увидела Свердлова в осеннем пальто, она растерялась:

— Что вы, Яков Михайлович? Как же... я же с вами в таком виде не могу...

— А мы пойдем врозь, — с нарочитой наивностью проговорил Свердлов.

— Не пойду! — Катя не приняла шутку, но заговорила мягче: — В поле знаете как за душу хватает? Ветрище прямо насквозь свищет. Не в городе — с ног валит, я два раза в канаву ныряла. Не пойду. Как хотите, ни за что не пойду! — Катя помотала головой и села на стул.

— Придется шагать одному. Давайте ключ! — Свердлов сказал это строго.

— Да, Яков Михайлович...

— Никаких разговоров, раз нужно. Потом, я привык.

— Замерзнете, простудитесь... и... и без валенок, а снегу намело!

— Пустяки! У меня нет валенок, понимаете? А пальто, пальто у меня как шуба.

— Выходит, что из-за меня... Не могу я.

— Глупости! А в Сибири как ссыльные? Идемте, ничего не случится. Ну? Руку, товарищ!

Городом до Канавина они пошли все-таки разными путями, несмотря на метель. Свердлов решил, что действительно правила конспирации, как учил, по словам Чачиной, «один человек», — а это же, конечно, Ульянов, — революционер обязан блюсти повседневно. Во всех случаях. Даже в личной жизни. И еще решил, что до выхода в поле не поднимет воротника у пальто, хотя снег теперь падает стремительней и стал мельче. При ветре прозрачные, как стекло, снежинки ощутительно покалывали щеки.

Решив неотложное, он стал думать о Кате. Она молодец. И сколько в нашем народе таких незаметных и стойких тружеников, борцов революции! Какая должна быть выдержка у человека и какая любовь к делу, о котором нельзя не только никому говорить, но и никого расспрашивать! Ни шагу на собрания или митинги.

Три четверти суток Катя должна жить обывательницей, маминой дочкой, даже вздохом не отзываться при

людях на общественные события; да что на события — на обычный разговор в поселке о том, как плохо живется рабочему и в лавке все дорожает, или как штрафует цеховая администрация за всякую малость, или как мастер заставил соседского Кузьму исправить что-то, а машины без ограждения, всюду понавалено, ну и затянуло... «Теперь Кузьма покалеченный на всю жизнь. Куда ему — на улицу?! А у него, у Кузьмы-то, четверо, мал мала меньше, и жена не работница: кожа да кости». Бровью нельзя повести, а не то чтобы разъяснять, откуда все идет и почему так получается. Ничего не поделаешь — особо секретную и нужную, ценную работу выполняет Катя, стоя несколько часов днем ли, ночью ли, в предрассветье с глазу на глаз с типографской машиной в подполье у развалюшки-бани. Справляется. Довольна.

...Временами Кате хочется — ей двадцать лет! — пожить по-настоящему, человеческой жизнью: ходить куда вздумается, говорить о простых вещах, спорить, но, во-первых, так это и будет: через сколько-то месяцев организация даст смену, переведет на другую работу, а во-вторых, Катя знает, как нужно печатное слово людям, знает по себе — оно сделало ее такой, какая она есть. Надо кому-то печатать эти слова, необходимые человечеству, как хлеб, а может быть, больше, чем хлеб.

Мечтает Катя только об одном: знать, что делается, например, в рабочем Питере или в Москве, о чем сейчас спорят в нелегальной России, что слышно об организации партии, что говорит Ульянов.

Рассказать о таких вещах Кате могут лишь двое: Степан Пономарев и Свердлов. Впрочем, Степан не очень может — их встречи бывают только на улице и мимолетны, чтобы не привлекать внимания. Да и много ли знает Степан?

Катя расстегивает крючок на полушубке, отгибает верхний угол мехом наружу, оглядывается — никого — и улыбается. Степан, похоже, побаивается Кати. То есть не боится он, а...

Чтобы не уточнять, Катя поспешно сдвигает брови и старается думать о Свердлове. Вот этот действительно все знает и рассказывает так, что после есть о чем помечтать.

Свердлова Катя определяла высшим для нее понятием — студент. Она знала все о Свердлове: и то, что он недавно бросил гимназию, из какой он семьи, но все это ров-

но ничего не значило, а «студент», особенно после беспорядков в университете,— слово для Кати ясное, объемное.

Если бы заставили разъяснить, как она понимает это слово, Катя запуталась бы, потому что хорошо знает: студент — это учащийся в высшем учебном заведении. Однако пусть учится человек в самом наивысшем институте, пусть носит студенческую тужурку, пусть красуется по праздничным дням в длиннополом мундирном сюртуке и при шпаге, все равно такой человек не студент, а белоподкладочник, барский сынок. Царский прихвостень, вот кто он такой. Настоящий студент мундира не наденет, а вместо шпаги у него браунинг или бомба может быть, если он террорист, или прокламации, если социал-демократ. Впрочем, объяснять, что понимает Катя под словом «студент», ей не придется — слово это у нее только для себя, чтобы отмечать таких людей, как Свердлов.

Катя очень уважает Свердлова. Как старшего брата, хотя старше-то она, и на целых два года. Никогда Катя не думала об этом, но сегодня, сейчас, в метель, когда по ее вине Свердлов должен идти в открытое поле легонько одетый, да и хрупкий он все-таки — Катя выше и плотнее,— сейчас она по-матерински беспокоится, сейчас она старше лет на десять.

Катя останавливается, всматривается в летящий снег. Заокской стороны будто и нет. Вокруг вообще ничего, кроме снега. Валит, как из прорвы. Катя поднимает лицо и тут же опускает — вместо неба мгла, а на ресницах зацепились снежинки и тают. Здесь, на спуске, должны быть фонари... Вот один, как тлеющая спичка, показался и сгинул в сизой дымке, косо простроченной толстыми белыми нитками. Это, может быть, красиво, если смотреть из натопленной комнаты через мохнатое, заиндевевшее окно, а на ветру стоять вовсе не уютно. Как нехорошо получилось!

Катя запахивает полушубок, подправляет волосы под платок. Раньше надо было думать, нескладная какая!.. А вдруг Яков Михайлович уже дошел?

Катя устремляется вниз по скату. Ветер подталкивает в спину; она почти бежит к реке.

...Свердлов тоже идет быстро. Пока ему не холодно. Он идет и перебирает в памяти: что случилось в последние дни такое, о чем нужно рассказать Кате Одинцовой? Мысли бегут бодро: в последних номерах «Искры» отве-

дено много места хронике революционной борьбы; стачки и политические демонстрации были в Петербурге, Москве, Харькове, Киеве. А в Тифлисе! Там удалась небывало крупная демонстрация. Потом: всеобщая стачка студентов, пятьдесят выступлений в деревнях. Про «Обуховскую оборону» он, кажется, рассказывал Кате, но о таких событиях следует напоминать. Надо и в Сормове так организовать, чтобы Первого мая вышло... обязательно несколько тысяч!

Свердлов улыбнулся — ему вспомнился Павлов и одновременно, как Лубоцкий говорит: «Ходи, Яша, по земле»,— и, обернувшись к городу, он поднял сжатую в кулак руку и выкрикнул в летящий снег:

— Две тысячи выведем!

Подумав, он так же твердо, но тихо произнес самому себе, как приказ:

— Обязательно нужно вывести две тысячи.

Катю Свердлов нагнал за железнодорожными путями. Она стояла спиной к полю и разматывала и вновь повязывала головной платок. Щеки у нее были словно нарумянены, а ресницы и завиток волос седые.

— Пошли! — сказал Свердлов, поправил шапку, отряхнул снег, поднял воротник и сунул руки в карманы.

— Дорогу плохо видно, Яков Михайлович,— тихо сказала Катя.

— Плохо? — Свердлов пригнулся, всматриваясь, и выпрямился. Он ничего не разбирал вокруг — налетевший ветер швырнул в лицо снегом и сразу запорошил стекла очков. (А поверх очков из-за крайней близорукости, да еще в метель, он сейчас вообще ничего не видел.) — Да, конечно, не идеально, но...— он потоптался на месте и, пробуя ногами дорогу, бодро закончил: — ничего. Мы пойдем сейчас на нефтяные баки, а там... В крайнем случае, по шпалам! Правда? Метель, кажется, слабеет. Тронулись.

Катя бросилась вперед. Поджидая Свердлова, она уже решила, что должна идти первой. Свердлов подбежал и ухватил ее за рукав:

— Вместе так вместе. Верно? Прежде всего справедливость!

— Не пойду сзади. Я в валенках.— Катя сделала шаг в сторону и остановилась.

Свердлов прошел вперед и тоже остановился.

Постояв, они договорились идти до первого бака вместе, рядом, а если придется свернуть с дороги, двигаться гуськом, и Катя вначале пойдет первой, потом они будут меняться местами.

Метель действительно ослабевала, снежинки стали мельче и прозрачней, ветер дул ровнее.

За первым нефтяным баком Свердлов откинул воротник и проговорил:

— Знаете, Катя, новость номер один...— Он задержался на мгновение и сказал в безличной форме: — Решено проводить в Сормове Первого мая большую демонстрацию с политическими лозунгами.

Катя остановилась, и с ее ресниц словно взлетели две бабочки:

— Правда?

Свердлов засмеялся:

— Конечно, правда!.. Хорошо?

Катя улыбнулась.

— Уж так-то хорошо, Яков Михайлович, что... вот даже жарко стало! — Катя провела рукой в варежке по лбу, и улыбка ее стала застенчивой.

Через несколько шагов она, не глядя на Свердлова, запинаясь, произнесла:

— А можно мне... посмотреть... будет, хоть бы со стороны?

Свердлов молча кивнул головой.

— Ух! — сказала Катя и зажмурилась.

Всю дорогу до Сормова они так и двигались скачками: то шли медленно, приостанавливаясь за разговором, когда ветер спадал, то молча убыстряли шаг, ежась, прикрывая руками лица, старались обогнать и заслонить друг друга, когда ветер набирал силу, подхватывал с поля мелкий снег и неистово мчался за Волгу. Перед поселком Катя убежала вперед, чтобы приласкать Шарика, уговорить его не лаять, когда появится Свердлов.

...После снега и ветра подполье показалось Свердлову на редкость уютным. Было, конечно, тесно: стояли две широкие бочки с набросанным тряпьем, остатками порванной упряжи, свернутыми в восьмерки связками жилистых веревок. В одну бочку прятались плоские ящики с набором, принадлежностями, хранилась бутыль с краской, другая — без дна — накрывала станок и была грязна

и шершава. В углу поблескивали втиснутые одно в другое три ведра, виднелся опрокинутый длинный ящик из неоструганных досок да сукастое березовое полено, похожее на вросший в землю широкий пень. Вдвоем не разойтись. Но светила принесенная сверху аккуратная жестяная лампа с начисто протертым стеклом, и Катя догадалась истопить баньку перед походом в город.

Свердлов сбросил на ящик пальто, кинул поверх шапку, потер лицо, словно умылся.

— Это замечательно, что тепло... Но вы не раздевайтесь...

Катя с удивлением выпрямилась.

— ...пока.— Свердлов заспешил: — Посмотрим, а там... там, если посмотрим,— он выдержал паузу,— по всей вероятности, увидим!

Он нагнулся к бочке, взял в охапку веревки и, оглянувшись на угол с ведрами, опустил туда ношу. Стопка ведер скривилась, Катя едва успела придержать.

— Ну вас, пустите! — Катя боком оттерла Свердлова от бочки.— Тут я хозяйка!

Свердлов отпрянул, деланно вздернул плечи, сгорбился и зашипел сквозь стиснутые зубы:

— Пш!..

Катя засмеялась. Вскинув голову, она присела и, охватив бочку обеими руками, приподняла и взглядом показала на полено:

— Ставьте сюда.— Она перевела взгляд на землю около своей ноги.— И сами садитесь... Не мешайтесь, ведь тяжело же на весу держать!

Свердлов рывком двинул березовый пень, нырнул под приподнятой бочкой, кое-как присел на полено.

— Это вы ловко!

Катя переступила влево, молча опустила бочку туда, где прежде стоял березовый пень. Отдышавшись, она сказала:

— Теперь ваш черед,— и, пройдя, пристроилась на лесенке.

Свердлов хорошо знал стоявшую перед ним самодельную печатную машину — она родилась тайно в отцовской мастерской, собранная из добытых в разных местах старых частей. Он быстро разобрал ее. Поломки не было — оказалось, что выпал небольшой болт и застрял в прикрытом жестяным коробом механизме ножной передачи.

— Вот-с, голова с затылком, всего-навсего две минуты работы.— Он искоса, поверх пенсне внимательно посмотрел на Катю.

Катя закусила губу, заливаясь краской, и принялась двумя руками быстро раздергивать узелок головного платка.

— И не выдумывайте! — Свердлов потер лоб.— Сейчас первый час ночи, если не второй, мать ваша беспокоится. Идите сию минуту спать. Печатаю я. Мне все равно нельзя возвращаться. И я чудесно здесь высплюсь. Прения откладываются на завтра.

...Выпроводив Катю, Свердлов напечатал сотню листовок. В них Нижегородский комитет РСДРП сообщал о студенческих беспорядках в Петербурге и о решении правительства забрить лоб почти ста студентам, отправить их в солдаты. Листовка говорила о новом возмутительном произволе царя и министров и звала рабочих крепить свои ряды для борьбы с главным своим врагом — самодержавием.

Свердлов разобрал листовки по десяткам, сложил их аккуратной стопкой, любовно погладил рукой.

Близится... Несомненно близится...

Затем прилег на ящик. Прищурился на лампу — потушить? Не стоит — вряд ли он заснет. Лучше подумать лежа. Тоже отдых. Хоть, по правде сказать, жестковато и голове неудобно. Много не полежишь.

Свердлов встал, расправил заново пальто, оглядевшись, взял две связки веревок, приладил их вместо подушки, подтянул к ним за воротник пальто, примерился. Не спеша лег, вытянулся.

Великолепно!

Он закрыл глаза, начал думать. И заснул.

Так незаметно проходили внешне простые и спокойные дни.

Кроме постоянных дел, которые можно было назвать большими — чтение марксистской литературы, кружок в Сормове, подготовка первомайской демонстрации, — были дела малые. Они возникали постоянно. Большие не имели сроков (в том смысле, что, когда вы ими занимаетесь,— ваше дело), малые — всегда сегодняшние.

Например, доставлен транспорт литературы. Его нужно

в сумерках, вечерком, получить в одном месте (пароль такой-то); спрятать на сутки у себя или в другом месте («но отвечаете вы!»); сообщить днем на третьей явке, «что» прибыло и «сколько»; там же узнать о четвертом, пятом, шестом адресах, куда следует перенести по частям доставшееся богатство, уговориться с адресатами, можно ли и когда и как передать (а предварительно проверить, не под наблюдением ли эти самые места), и, наконец, организовать молниеносную доставку, так как обстановка может завтра измениться, и тогда... («Вы себе представляете, что может тогда произойти? Смотрите!»).

— Беретесь, Свердлов? Ручаетесь?

Чачина в упор смотрит, и в прищуренных глазах в глубине словно две искры на ветру.

Свердлов глядит на Чачину, непроизвольным движением руки сжимает и разжимает кисточку от пояса.

— Я думаю,— говорит он медленно,— что сумею сделать, как...

— ...летом? — перебивает Чачина и, успокоившись, делает несколько шагов, опирается на стул, садится.— Летом вы исполняли поручения вроде этого, но имейте в виду, Свердлов, что то было проще: вы получили и принесли ко мне. Я помню. Сейчас сложнее.

— Сейчас сложнее. Но это ничего, что труднее!

Задорная нотка в его голосе смущает Чачину:

— Подождите... Откровенно говоря, я боюсь... Нет у вас конспиративного опыта, вот в чем дело!

Свердлов хмурится. Ему хочется выполнить поручение. Своей сложностью, ответственностью оно привлекательно. Справиться-то он справится, но если она не верит — пусть! Только зачем тогда было говорить, объяснять?

Чачиной приходит эта же мысль. В сущности, члены комитета — искровцы прямо указали на Свердлова, когда она сообщила о прибытии транспорта.

— Хорошо,— говорит Чачина.— Комитет поручает это вам. Только я прошу: как получите, принесете. Вы придете ко мне. У вас есть где спрятать? Ну, на сутки?

— Есть,— говорит Свердлов, стараясь быть спокойным, серьезным.— Во-первых — чердак, во-вторых — в сарае.

— Так я и знала! Неужели вы не знаете, что прежде всего ищут на чердаках и в сараях?

— Чердак у нас большой.

— Все равно!

— А сарай... Собственно, не сарай, а я думал, позади, между сараем и соседним домом. Там глухая кирпичная стена. Получилась щель; у меня устроено так, что в задней стенке доска вынимается, а в щели ворох листьев... Впрочем, если хотите, можно отнести к Лазареву, то есть у «Динамита» в саду или в парниках. Я там уж прятал кое-что.

— Пожалуй. Хотя лишний человек. Давайте в сарай. Сарай — это, кажется, хорошо.

И Свердлов бросает на несколько дней все свои дела, рыскает по городу, наблюдает, действует...

Или, например, для комитетского гектографа у Ростопчина срочно требуется бумага. Опять несколько дней мелких действий. Кажется, достать бумагу — что может быть проще? Писчебумажные магазины в Нижнем есть, пошел и купил.

Но, во-первых, нет денег. Надо прикинуть, где бы раздобыть, нужно походить.

— Володя, у тебя есть наличность?

— Кажется, было немного. Считать? Гривенник, пятиалтынный, еще пять... восемь... Сорок копеек. Больше нет и в ближайшем будущем не предвидится.

— Можешь дать половину?

— Нужно?

— Очень нужно.

— Бери.

Иногда в комнате Свердлова таинственно появляется ученик гравера Яша Гальперт. Бывают в отцовской типографии случаи, когда в отсутствие хозяина приходит заказчик.

Переглянувшись с товарищами, старший гравер Николай Александрович принимает заказ и в книгу его не записывает. Над заказом работают втихомолку и, если так же тихо удастся сдать готовое, часть выручки молча передают Яше.

Гальперт приходит на квартиру к Якову Михайловичу якобы за книгами — почитать. Он озирается, держит руку за пазухой, подходит вплотную.

— От нас,— говорит он, разжимает кулак и, передохнув, шепотом добавляет: — На революцию!

Глаза его так сияют, что выговорить в ответ «спасибо» — преступление. Свердлов по-мужски крепко стискивает Яшину руку и, глядя ему в глаза, несколько раз подряд кивает головой.

Яша одергивает свою серую однобортную курточку, прячет взгляд, неловко кланяется и поспешно уходит, забыв взять книгу.

Но это бывает редко — за деньгами на срочные дела подполья почти всегда приходится бегать.

— У вас, случайно, нет сейчас лишних... то есть свободных денег? Немного?

Выговаривать такие слова трудно. Хочется опустить голову и не видеть, как твой товарищ ищет по карманам старенький, обтрепанный кошелек.

Когда деньги собраны, нужно обдумать, куда кто пойдет покупать. Приходится брать, чтобы не возбудить к своей персоне интереса, в разных лавках, понемногу, быть незаметным, случайным покупателем.

И все-таки... Пусть малые дела суматошны, пусть они требуют хождения по городу, отнимают массу времени — все равно Свердлов любит эти ясные безотлагательные поручения. Он выполняет их с жаром. И не потому, что он сознательно стремится накапливать необходимый для подпольной работы опыт организатора и исполнителя,— просто все это реальная, интересная жизнь: знакомство с людьми, желающими принять участие в большом деле, организация борьбы, сама борьба.

Страдает чтение, и уже чувствуется, как не хватает теоретических знаний, но... как говорит «Дед»: «Не беспокойтесь, юноша, все придет. Всякому овощу свое время. Будете в тюрьме? Будете. Сядете рано или поздно. Обязательно сядете, не спорьте! И в места не столь отдаленные прогуляетесь. За вас — ручаюсь. Весь путь пройдете. Запомните, юноша, что для социал-демократа тюрьма — университет, а ссылка — академия. Прочтете Маркса и Энгельса до корки. Обсудите с товарищами до хрипоты. Будете спорить — все запятые на места станут».

Нельзя было никому признаться, но слова эти бодрили и волновали тайной. Свердлов с интересом вслушивался, где бы при нем ни заходили разговоры о тюрьмах, этапах и побегах из ссылки. А вспоминали про это часто.

5. ПОЛОВОДЬЕ

Весна подошла нежданно быстро. Дружно закапало с крыш, и около лестницы появилась стеклянная лужица, через которую на второй день пришлось прыгать. Снег у крыльца и под окнами стал сизым, как подмокший сахар. Потом пробился к воротам широкий, как речка, ручей, а на старой вербе, в углу, около дровяного сарая, распрямились и закраснели ветки.

Первую влажную весеннюю землю и будто нарисованные тонкой кистью травинки Свердлов увидел на откосе. Здесь по-особому заметно пригревало солнце, пахло весной. Теперь, куда бы Свердлов ни спешил, он забегал постоять высоко над Волгой. Голубело небо — оно будто поднялось, и распахнулись такие дали, каких не бывает и летом.

Особенно тянуло сюда, когда прошел дальний лед и могучее половодье шевелилось и сверкало, почти касаясь заволжского необъятного горизонта.

Весна радовала Свердлова не только сама по себе — высоким небом, запахом треснувших почек, бегущими ручьями,— радовала близость, почти канун Первого мая, радовало, что встретит он май необыкновенно. Позади по-настоящему большая работа. Все, над чем старались в Сормове члены комитета — Чачина, Литвин-Седой, Пискунов, Семашко и он, Свердлов,— все удалось: будут две тысячи. В этом уверена даже Чачина.

А если будет такой день, как сегодня,— а почему бы ему не быть таким! — на демонстрацию в Сормове выйдет безусловно больше. Может быть, даже три тысячи. Или три с половиной. Настроение у сормовичей крепкое, полиция и администрация ни о чем пока не догадываются. Они сидят себе спокойно за толстыми стенами с чугунными решетками на окнах и думают, что если в цехах нет листовок, так рабочие притихли, всё позабыли, поняли, что ничего угрозами не добьются. Смирились. Погодите, господа хорошие, скоро вы увидите, что такое рабочее Сормово! Ждать осталось меньше двух недель, всего двенадцать дней. Хорошо!

В полдень прибежал Лубоцкий. Он прибежал без пальто, в расстегнутой тужурке. Движения были размашисты. Из карманов выглядывали чугунные завитки уключин.

— Сидишь!

Свердлов проворно опустился на сундук в прихожей.

— Сижу!

— Немедленно собирайся!

— И собираться не собираюсь.

Оба, сдерживая улыбки, весело, жизнерадостно поглядывали друг на друга, готовые и бросить и продолжить игру.

— Ну и байбак! — поспешно сказал Лубоцкий.

Свердлов суетливо порылся в карманах и, не найдя ничего подходящего, сложил руки, будто держал книгу, и заговорил ровным голосом:

— Красивый незнакомец быстро взбежал на площадку, не сообразив по природному легкомыслию, что, преодолевая столь стремительно отвесную лестницу, неуклюжие предметы в его узких, черт знает чем набитых карманах обнаружат свои верхние части.

Лубоцкий пригнул голову, оглядывая себя. Свердлов вскочил, обхватил друга и выдернул уключину.

— Ах ты, голова с затылком! Разве так прячут?

— Жаль, что не удалось.

— Я все равно понял бы по глазам.

— Это, брат, врешь! Мистика! Уключина в глазах не помещается.

— Уключина — может быть, а весна уместилась. Володя, какая замечательная штука — русская весна!

— Нечего, нечего зубы заговаривать! Идем. И так опаздываем — все ушли. Я сюда, а они туда.

— Есть туда и сюда! Я мигом! Только сапоги новые надену. Все равно обгоним.

Пока Свердлов облачался, он успел задать с десяток вопросов: «Кто — все? Почему Борис? А Вера? Зачем уключины?»

— Ты, Яша, какой-то особенный.

— Я весенний!

— Уключины захвачены про запас, потому что Люба... вообще девушки...

— Брось, Люба — не вообще.

— Девушки обязательно захотят грести и... и обязательно упустят, сиречь утопят, уключины.

Когда Свердлов был готов, на пороге столовой появилась Сара. За ее плечом колебался еще чей-то коричневый гимназический бант бабочкой.

— Можно?

— Сегодня, сестренка, все можно!

— Вы собираетесь на лодках...

— Гм!.. Возможно. Однако из этого ничего не следует.

— Тогда мы с Соней только проводим. Мы умеем очень быстро ходить. Ты сказал, что сегодня все можно. Ты это сам сказал.

— Кроме этого. А остальное всё. Дело в том, что мы проходными — и через заборы.

— Тогда вечером мы пойдем вместе на откос.

— Вот это... Вечером? Вечером можно.

...На двадцать человек раздобыли три лодки. С шумом, толкаясь, едва разместились. Вначале как-то так выходило, что одному-двум некуда втиснуться; спорили, вылезали, менялись лодками. Наконец, отвалили и сразу притихли.

Весна открылась еще раз заново. На солнечную чешуйчатую рябь воды, на крутящиеся рядом большие и малые водовороты, на затопленные берега с деревцами по колено в воде нельзя было смотреть не щурясь, но и не смотреть невозможно, до того все задорно-нарядно.

Свердлов пристроился на большой, как баркас, лодке, на самом носу. Сидеть было неудобно — узко, под ногами мешался заржавленный якорек, привязанный к носовому кольцу толстой, как канат, пеньковой веревкой. Веревка — новая, она еще не побывала на воде — ниспадала негнущимися петлями, была ворсиста и задириста, как пакля. Свердлов повернулся лицом вперед, опустился и подмял петли коленями.

Оказалось, что лучшего положения не может быть. Немного режут под мышками ребристые борта лодки, но зато не только слышишь — всем телом ощущаешь, как набегает лодка на волны и вода булькает, колотится и шипит, уступая дорогу. Ветерок, заигрывая, перебирает волосы у виска. Теплынь... Простор. Неизвестно, чего больше — неба, воздуха, воды...

— В Венецию! Курс на Венецию! За нами держать! — закричали с соседней лодки в несколько голосов.

Впереди, еще далеко, канавинский берег, но отчетливо видна территория ярмарки, захваченная половодьем. Широкий разлив не воспринимается бедствием — павильоны пусты, и, в сущности, они ничьи, ненужная барская затея. А сейчас красиво. Полузатопленные, с омытыми стенами, голубые и синие, красные, желтые, террако-

товые, с зелеными или черно-белыми, как шахматная доска, крышами постройки кажутся легкими. Даже как бы ненастоящими. Будто разбросаны вдали немного поблекшие, а все равно затейливые, веселые детские игрушки.

Свердлов вскакивает и машет руками, чтобы привлечь внимание.

— Венеция на закуску!.. На стрежень! — кричит он и, показав в сторону Волги, поднимает обе руки над головой, стремительно опускает их, будто бросая запев:

Из-за острова на стрежень...

Поет Свердлов не очень музыкально, но громко, могучим басом. Гребцы на баркасе выдергивают из уключин весла, ставят их между колен стоймя, как копья, и, дружно подхватывая, выносят песню на правильный путь:

На простор речной волны
Выплывают расписные...

С двух соседних лодок в хор вплетаются одни женские голоса. Мужчинам некогда — у них затеялось свое, мужское: как не помериться силами, если смотрят девушки! Лодки в брызгах и всплесках пошли было наперегонки. Поворот к Волге сбил гребцов с ритма, весла по правому борту увязли в воде, пошли вглубь, слева сорвали брызги, крупные, как дождь. Лодки качнулись, завиляли, столкнулись. Однако что ж, можно и в песне взять верх! А ну, кто громче:

На переднем Стенька Разин...

Песня рванулась, окрепла и хорошо понеслась по воде к берегу.

Там сегодня воскресенье, весна, на редкость людно, может быть, весь город у Волги. Кто-то машет красным платком. Выше по косогору вылезшие из-под снега дома и домишки играют оконными стеклами. Редкой зеленью пестрят над сарайчиками дворовые молодящиеся ветераны-тополи, вязы, дуплистые березы. Над крышей пароходства «Русь» полощется первый флаг. У воды возятся с лодками, подальше смолят поднятую на распорки барку, красят пристанский забор. На взвозе тарахтят телеги, из раскрытого склада по доскам спускают бочки, и они, вихляясь, раскатываются по двору. Скоро порт заживет шумной

трудовой жизнью, но пока здесь только нарядная русская весна.

...Степан Пономарев облюбовал место на канавинском берегу около чьего-то палисадника с распушившейся во все стороны вербой. Пониже, через дорогу,— затопленный до половины высокого каменного фундамента длинный, как казарма, товарный склад. На нем по зеленому ржавому скату копошатся, как воробьи, мальчишки в кацавейках и промятых картузах. Видимо, это вольный фрегат пиратов в Индийском океане либо необитаемый остров, куда полчаса тому назад выбросило отважных мореплавателей,— мальчишки из-под ладони осматривают горизонт и размахивают деревянными кинжалами и топорами.

Степан Пономарев и его собеседник Елкин, сормовский рабочий, сидят молча и смотрят выше фрегата, туда, где река, играючи, вся в блесках, уходит широкой, словно дымчатой горной дорогой вверх.

Разговор оборвала прилетевшая с реки песня о вольном атамане. Три лодки проплыли остроносыми стругами; на них, подбоченясь,— казаки с пищалями в руках, задумавшийся о своем Степан Разин, могучий, широкий, в красном распахнутом кафтане, черноокая персиянка... Эх, атаман! Всем она чужая, твоя княжна со стрельчатыми ресницами, как ящерка в полупрозрачных зеленых тканях и желтых шелках.

Пономарев, как будто перевернув страницу-картинку, видит разом всю Русь в онучах и заплатанных зипунах, курные избы, снега, пустынные ночные снега на бескрайних полях, волчьи стаи... И стаи галок над куполами Василия Блаженного, Лобное место; вокруг колышется, переминаясь с ноги на ногу, тесно, плечо в плечо, осиротевшая толпа в надвинутых треухах и рваных шапках. Эх, атаман...

Степан Пономарев невидящими глазами смотрит на волжское блескучее марево и неожиданно резко поворачивает голову к собеседнику:

— Согласен?

Прерванный лодками и песней разговор был длинным. Как вышли из Сормова, так и добрели незаметно до канавинского берега. Больше рассказывал Степан.

Он давно приметил немолодого токаря по металлу: первый раз увидел в библиотеке, и ему понравилось, как

бережно, по записке, рабочий спрашивал книги: одну по мирозданию, другую из беллетристики. Спрашивал «Капитанскую дочку» Пушкина, «Тараса Бульбу» Гоголя, повести и рассказы Глеба Успенского, Решетникова. Позже, когда Свердлов поручил приглядываться к рабочим и выискивать подходящих (но пока никому ничего не открывать), Степан несколько раз встречал Елкина то в библиотеке, то в потребительской лавке, то заходил в вальце-токарную и расспрашивал о прочитанных книгах, заводил разговор о жизни. Недавно Свердлов разрешил Степану серьезный разговор с Елкиным, если кто-нибудь из кружковцев (а лучше пусть Веденяпин) подтвердит впечатления Степана.

Елкин не сразу ответил. Он сидел на земле, обхватив колени руками, на разостланной ватной кацавейке и смотрел вдаль. Переменив позу, взглянул на Степана прищуренными темными глазами, пощипал редкую, кустиками бородку и, передохнув, отвернулся. Степану показалось, что на лице Елкина мелькнула неожиданно детская — и довольная, и растерянная, и мечтательная — улыбка.

— Согласен-то я давно согласен. Меня Ксюша — ты мою Ксению Филатовну, должно быть, видел? — она меня с прошлого лета пилит. «Есть, говорит, у нас, Иван, не может быть, чтобы в нашем Сормове не водились настоящие люди... Да, а ты только книжки читаешь,— мы с ней вместе по вечерам друг дружке вслух читаем,— живем, говорит, мы, как на заимке в лесах и на горах кержаки существуют, в одиночку, а это неправильно. Сейчас нужно всем своим обществом держаться».

— Здорово! Скажи, как бывает! — заинтересовался Степан.

Он выговорил это более звонко, чем хотел, и подумал: «А кто их знает, этого Елкина с его тридцатилетней Ксюшей. Какие-то они, выходит, чудные!» Помолчав, он добавил совсем другим тоном:

— В общем, согласен? Та-ак.

Елкин не обратил внимания на перемену тональности — его волновал вопрос, который он не знал, как выразить.

— Вас... Ты от себя говоришь или... То есть я не про фамилии, я же понимаю. И не обижаюсь я, а оно... если подполье, тогда одна как бы ситуация. Я... Мы с Ксюшей

обязательно — не сомневайся, Степан,— мы поможем, а если просто зачинать, я ничего не знаю. Вот сказал: согласен, а что делать, не понимаю. Это я от души говорю, как все есть.

Степан поморщился и отвернулся. Черт знает как нескладно получается: и говорить нельзя, и обратно слова не возьмешь.

Он вздохнул.

— В общем, так: согласен? Ладно. На первое время нам нужны дома, где в случае чего можно на ночь или на две поместить... одним словом, товарищей.

— Можно, Степан. Можно! — Елкин с размаху остановился, помолчал, сосредоточенно моргая, глядя на Пономарева и не видя его.— У нас детей нет, тихо. А насчет Ксении Филатовны — она у меня серьезная... Знаешь,— он склонил голову набок,— у Ксюши в божнице запрятан так, небольшой, меньше четвертушки, листок бумаги... она по нему читать выучилась. А листок этот — надо ж, чтобы так вышло! — прокламация. Правда, интересно? Отец ее принес. Где-то подобрал, а может... может быть, и получил от кого из рук в руки. В деревне они тогда жили. Отец по этому листику, когда подошло время, начал Ксении буквы объяснять. И заказал Ксении листик беречь на всю жизнь, потому что написаны, говорит, там главные слова: «Народная воля».

Степан подумал, что надо бы разъяснить Елкину вредность теперешних народников, сказать о единственной правильной дороге для рабочего класса, да соображения перебились мыслями о странных в жизни поворотах: вот оставил человек прокламацию, а по ней деревенская девочка по складам открывает невиданный мир. Любопытны эти Елкины. Присмотреться надо, а то еще как все обернется? Разные бывают люди. И как же они, каждый по-своему, видят жизнь!

Он мечтательно уставился вдаль и не заметил, как перестал думать. Видел сверкающую Волгу, словно в дымке горизонт, берега, крышу склада с притихшими мальчишками, смотрел, будто никогда не видывал прежде такой легкой красоты.

Три лодки, издалека маленькие, как сплавные три бревна, одна за другой едва двигались по реке. Что они плывут, подсказывало мельканье тонких, как палочки, весел.

На лодках теперь пели по очереди: кто песню, кто романс. Высокий белокурый студент Борис Морковников с розовыми от возбуждения щеками пытался вполголоса напеть арию Ленского «Куда, куда вы удалились...» Его слушали затаившись. Но когда Свердлов неожиданно помефистофельски возвестил: «На земле весь род людской чтит один кумир священный...» и тотчас демоном рявкнул: «Презренный мир», все запротестовали — в одиночестве и громко Свердлов невыносимо фальшивил. Его повалили со смехом на дно лодки, учредили суд. В конце концов Свердлова сослали на корму под надзор двух курсисток — Маруси Щепетильниковой и Наташи Соколовской. Маруся держала в руках черную бабушкину шаль и обязалась накинуть ее на голову «знаменитого баса», если он раскроет рот.

Столкнувшиеся лодки расцепились и пошли к канавинскому берегу курсом на затопленный главный ярмарочный павильон с двумя резными петухами на крыше.

Вокруг по-прежнему все играло блеском и струилось: вода, воздух; берега теперь будто покачивались и бесшумно надвигались навстречу.

— Я смотрю на вас, Яков,— сказала Наташа,— вы, оказывается, совсем, совсем другой.

Свердлов хотел отшутиться, мельком глянул на близкий Наташин профиль и задержался с ответом. Наташа сидела, подавшись вперед, и смотрела вверх, не то вспоминая, не то вглядываясь во что-то далекое и очень свое. Гладкие темные волосы были скручены сзади в косы, а спереди растрепались и лучились; по-девичьи нежны были линии лба, острого носика и подбородка.

Не дождавшись ответа, девушка повернула голову, улыбнулась, и взгляд голубых глаз будто еще хранил виденное в речной дали.

— Нет, правда,— она вновь повернулась в профиль и сказала эти слова суровее,— вы другой.

— Хуже или лучше?

— Я не о том. И, вероятно, такое никак не объяснишь другому человеку.

— Если оный субъект непонятлив с детства. Обратите внимание, Наташенька, с детства, отнюдь не от природы.

Наташа опустила руку за борт в воду. От руки побе-

жали игрушечные волны. Наташа высвободила руку и подышала на пальцы.

— Вы очень хороший, Яков, но...

Маруся Щепетильникова, сидевшая по другую сторону от Свердлова, чуточку отодвинулась, повернулась к соседу слева, Борису Морковникову, заговорила с ним.

— Нет, не так,— перебила себя Наташа и затихла.— Хотя нет: именно потому, что хороший, можно сказать. Давно хотела, но не приходилось к слову...— И, растерявшись, проговорила упавшим голосом первое, что пришло в голову: — Вы не думаете о себе. Ведь не занимаетесь? Алгеброй, физикой, историей.

Свердлов повел плечом, будто вздрогнул. Он тоже растерялся от неожиданного поворота в разговоре и оттого, что не умел еще переключать чувства внезапно.

— Все равно знаю — так. У Сары спрашивала.— Наташа на мгновение свела брови и настойчиво подтвердила: — Всякий человек думает о себе и должен думать о будущем. Я много размышляла об этом — и очень верно, что следует иметь профессию. Не для заработка, чтобы было на что жить, не для общества, то есть не для «общества», как это сейчас у нас понимают наверху, в городе, а для общества... ну, в смысле — народ. Для народа. Народу очень нужно, чтобы решительно каждый, каждый имел какую-нибудь свою специальность. Разве неверно, неправильно? А на «потом» нельзя, оттого что...

Свердлов притронулся к Наташиному локтю. Наташа, вздрогнув, прижала локоть и начала обеими ладонями разглаживать платье на коленях.

— Значит, надо быть, Наташенька, доктором, инженером, агрономом... помощником присяжного поверенного, ветеринаром. А революция — не профессия! — Свердлов почти выкрикнул эту фразу, и гребцы, сделав рывок, бросили весла. Вскочивший Свердлов качнулся и поспешил сесть.— По-моему, это величайшее из всех человеческих искусств — революция. Пусть не искусство, все равно странно, нелепо, почему вначале необходимо стать «кем-то», а потом, пожалуйста, занимайся, если хочешь, политикой. Точнее — политической деятельностью.

— Яша, предупреждаю! — закричал с соседней лодки Лубоцкий, сложив руки рупором.— Предсказываю: не бывать тебе лордом адмиралтейства!

Свердлов посмеялся со всеми вместе и потом сказал одной Наташе:

— Отвечает человек на одно, а подходит к другому. Для меня политика — жизнь, и, понимаете, это очень хорошо, что Россия не Англия. Поэтому я могу и хочу быть революционером, а потом, когда революция победит — это наверняка случится раньше, чем мне стукнет семьдесят лет,— тогда можно будет... Одним словом, будет видно, кем кому быть тогда.

— Членом народного собрания,— подсказала, как в школе, раздельно, Маруся Щепетильникова.

— Нет,— решительно проговорила Наташа,— я же серьезно! Вот перебили... Да. Алгебру все равно надо знать. И математику, и физику, и историю.— Она задумалась, посмотрела на Свердлова: — Все, что вы сейчас сказали, пусть логично и все правда, а в жизни так не бывает почему-то.

Увидев, что Свердлов вскочил, Наташа заторопилась:

— Чтобы стать революционером, нужна хоть капелька геройства, а ее...

— Просто надо, как говорит Горький, ощущать в себе человека. Ну, и соответственным образом жить. А это и значит действовать. И обязательно получится совершенная чепуха, если ждать.— Свердлов повысил голос: — Таких, как мы, то есть, во всяком случае, как я, таких выгоняют с первого курса. Выгонят и вышлют, а на поверку выйдет, что ничего и не сделал.

— Первокурсник, садись! — крикнул Борис Морковников и потянул Свердлова за руку.

Гребцы откинулись в последний раз и бросили весла. Лодки одна за другой бесшумно вдвинулись в сводчатый вестибюль павильона.

В затопленном помещении, как в большой каменной прибрежной пещере, держалась гулкая тишина. Через пустые оконные ниши главного зала вливался солнечный свет.

Потревоженная лодкой вода десятками перламутровых кругов и линий заколебалась на потолке. Со стен к потолку и обратно забегали юркие солнечные зайчики.

Первое же громко произнесенное слово «Тишина!» прозвенело будто над ухом и отдалось где-то вверху.

Тогда чей-то женский голос весело спросил:

— Кто сорвал яблоко с запретного древа?

— Ева,— сердито отозвалось в углу.

И сразу с лодок стаей понеслись выкрики, с треском разрезавшие звонкий воздух.

Всех перекрыл бас Свердлова:

— Ого-го-гоо!

— Споем? — спросила Наташа, когда замер рокот.

— Яша! — крикнул Лубоцкий.

— Объявляется,— сказал Свердлов, пробираясь с кормы на середину баркаса,— программа: «Первомайская спевка». Товарищи!.. Только лодки, лодки надо борт к борту.

Он подождал, пока стих скрежет уключин и весел, выпрямился, обеими руками схватился за борта пиджака, распахивая его пошире на груди, еще выждал секунду и, подняв голову, начал «Марсельезу»:

Отречемся от старого мира...

Ему дали спеть первое слово и дружно, с подъемом подхватили песню.

Необыкновенно чистая в пустом павильоне звонкость девичьих голосов на высоких нотах и дружный рокот басов при замирающих еще по углам отголосках сопрано убирали все посторонние мысли, и хотелось петь как можно чище, душевнее.

«Марсельеза» вдохновенно вынеслась через широкие окна на простор.

Пономарев и Елкин опять прервали свою беседу. Они переглянулись, остались сидеть в тех позах, как их застиг напев.

— Ох, здорово! — скорым шепотом выдохнул Степан, едва дождавшись конца строфы.

Елкин не успел ответить, согласно кивнул головой, запоминая для Ксюши неслыханные еще слова.

— «Марсельеза» называется,— тихо и раздельно проговорил Степан.— Будто бы французский гимн.

Елкин поднял руку с растопыренными пальцами, ловя новую паузу.

— Я читал,— оживившись, сказал он,— правильно, если «Марсельеза», ее коммунары пели в Париже, когда их версальцы из ружей расстреливали у стены. В одном романе про это в подробностях сильно описано, все как

глазами видишь, но слов не напечатано. А она настоящая песня — встать хочется.

— Про Париж не знаю, а вот наши студенты в Питере пели. Запрещенная,— сказал Степан.

Из-за угла показался городовой. Он шел, вытянув вперед голову, суетливо поводил ею, наскоро высматривая дорогу, людей, дома, палисадники. Мальчишки на складе, точно их начали пересчитывать, по очереди присели на корточки и поехали по скату к желобу.

Городовой посмотрел на мальчишек, на Степана с Елкиным, снова на мальчишек. Те замерли, нацеливаясь прыгать вниз. Только один из них, в полинявшей розовой рубашке с цветастой синей заплатой на животе, встал и подвигал на затылке картуз с надорванным козырьком. Через плечо на веревке у него висела деревянная сабля.

— Эй вы, оглашенные, погоди! — Городовой подошел ближе к стене склада.— Не трону... Как оно там... одним словом, видать там, кто горланит?

— Отсель, дяденька, всю реку начисто! — с увлечением, не переводя дух, начал ближайший мальчишка и зажмурился от пронзительного свиста.

Свистел в два пальца загорелый мальчишка в розовой рубахе. Исчерпав силы, он жадно передохнул и тотчас, вновь краснея от натуги, закричал, по-боцмански играя голосом:

— Пошел все наверх паруса ставить. Жива-а!..

Мальчишки на четвереньках, как по вантам, взбежали обратно к гребню крыш, а «боцман» с достоинством скривил на сторону рот, небрежно сплюнул и тогда обернулся к городовому.

— Не,— сказал он,— энти в затон подались. Кверху. На моторке шли.

В это время не так громко, как «Марсельеза», но внятно донесся с реки новый запев: «Вихри враждебные веют над нами...»

— Я тебе покажу, шкура! — заметался городовой.

Мальчишка показал язык, отпрянул от желоба и побежал по крыше вверх. Городовой кинулся к водосточной трубе, потоптался на месте. Потом подтянул штаны, схватился обеими руками за трубу, медленно поднял ногу в начищенном сапоге и опустил ее. Еще порыскав взглядом вокруг и встретив пристальный ответный взгляд Степана,

городовой сунул в его сторону кулак, ухватил под мышку шашку и деловитой трусцой побежал вправо, по дороге в горку.

Степану захотелось улюлюкнуть вслед городовому. Он набрал побольше воздуха, но удержался и досадливо крякнул:

— Эх, мать честная, до чего я их видеть не могу!

Он выждал, пока скроется городовой, и встал, показав пальцем Елкину, чтобы тот сидел, подошел к складу и захлопал ладонью по водосточной трубе:

— Эй, капитаны!

— Ну?.. Чего? — раздалось сверху.

— А ты не бойся.

— А я не больно боюсь! — Крыша раскатисто заскрипела.

— Дело есть.

Голова мальчишки в картузе вынырнула из-за желоба:

— Ну?

— Как зовут-то?

— А зачем?

— Для разговора, брат, удобнее.

— Тогда Васька Метелкиных.

— Это с железки, что ли?

— Не, отец с грузового причалу. Этих... «Братьев Каменских».

— Ладно, все равно подходит: бывалый!

— Ничего.

— Тогда, брат, о деле, как бы тебе объяснить?

— А ты валяй. Небось тоже насчет «этих», что ли?

— Предупредить надо, Василий, понимаешь, и быстрее: одна нога здесь, другая там. Знаешь кого?

— Ага. Тех!

— Поаккуратней надо, боцман.

— Есть!

Крыша загрохотала железом в полный голос, и вскоре оттуда запрыгала вся ватага. Посовещавшись, мальчишки двумя струйками побежали вправо и влево.

Степан подошел к Елкину:

— Пошли.

— Куда нам надо-то теперь? — нерешительно спросил Елкин.

— К дому пошли, нагулялись, — ответил Степан. — В случае... мы здесь не были, ничего не слыхали,

...На лодках удивились, что с берега настойчиво семафорят ребята. На баркасе перестали было грести.

Лодки шли к канавинскому берегу, потому что решено было всей гурьбой пить чай у живущего в Канавине Бориса Морковникова.

— Может быть, не нам,— сказала Наташа.

— А кому? — спросила Щепетильникова.— Вон тот, в рубахе, вплавь готов броситься.

— Опасно может быть для нас одно,— проговорил, как бы рассуждая, Борис и вопросительно посмотрел на Свердлова.— Хотя это вряд ли...

Свердлов почувствовал себя старше всех.

— Ты думаешь, тут есть подводный риф или нечто подобное?

— Но, Яков...

— Как это командуется? Весла на воду? Тут думать нечего.— Свердлов наклонился к Борису, и Щепетильникова откинулась назад.— Есть такая поговорка: «Не пойман — не вор». Знаешь? По-моему, замечательно она к нам подходит. Вообще. Во всех случаях!

Как только баркас уткнулся в берег, Свердлов первым оказался на земле. От мальчишек отделился один, в розовой рубашке, и пошел навстречу. Картуз у него почти накрывал глаза. Сабли не было.

Подойдя к Свердлову вплотную, «боцман» для верности оглянулся назад. Потом дотронулся пальцем до рукава Свердлова и подмигнул одним глазом.

— Городовой туда побежал.— «Боцман», не поворачиваясь, небрежно дернул кулаком с оттопыренным большим пальцем вправо.— Он-то сам не видел, а...

— И ты не видел.— Свердлов ласково в упор посмотрел на мальчишку.

— Не, я, ей-богу, видел.

— Через стенку?

Мальчишка повернул голову и, скосив на небо глаза, вдруг засмеялся.

— Догадался, в чем дело? Ну и хорошо. А тебе спасибо. Человеком будешь! — Свердлов пожал мальчишке руку.

...Пить чай у Морковникова собирались весело. Организовали складчину и долго препирались, что лучше купить: бублики или сушки, карамель-подушечки или леденцы-ландринки. Без спора взяли только фунт вареной

колбасы и три фунта ситного с изюмом. Морковников выставил всю наличную у квартирной хозяйки чайную посуду; ее было не густо: пять чашек с блюдечками, два стакана с одним блюдцем, кружка. Определили жребием четырнадцать счастливцев. Свердлов сбегал еще раз к хозяйке и раздобыл дополнительно, под залог, четыре глубокие тарелки и розовую — лепестками — вазочку для варенья.

Разместились на стульях, табуретках, кровати, подоконнике и приступили к чаепитию. Свердлов последним подошел, стал на одно колено перед Марусей Щепетильниковой, разливавшей чай, и протянул извлеченную откуда-то из недр пиджака разливательную суповую ложку.

Пили по-студенчески шумно. Так же шумно и по-весеннему беззаботно, как проводили весь день.

...Перед вечером, когда собирались сесть в лодки, компанию разыскала Сара. Она остановилась поодаль, не зная, как сделать лучше: подойти самой или подозвать брата.

Свердлов подбежал и вопросительно посмотрел на сестру.

— Приходил один человек, он сказал, что обязательно нужно сейчас тебя найти.— Сара посмотрела на землю у своих ног и нерешительно подняла голову.— Он сказал... умер студент Рюриков.— Глаза у Сары были большие и тревожные.

Историю Бориса Рюрикова, студента Казанского ветеринарного института, недавно высланного на родину, в Нижний, в городе знали многие. Еще в Казани, истощенный от постоянного недоедания и неизлечимо больной, он был арестован и полгода просидел в тюрьме. Потом выслали в Нижний, где после резкого разговора с жандармским ротмистром в местной охранке его снова продержали два месяца в одиночке нижегородской тюрьмы. Теперь, три дня назад, Рюрикова отпустили на извозчике с городовым домой — один он уже не мог ехать.

Свердлов стиснул зубы и, сжав правую руку в кулак, ударил побелевшими костяшками пальцев несколько раз подряд по левой ладони.

— Идем. Вместе поедем на лодке.

Вернувшись к лодкам, Свердлов не очень громко, без интонаций проговорил:

— Умер Рюриков. Надо сегодня же действовать. Едем.

Через Оку поплыли в молчании. Скрипели уключины, гребцы резко наклонялись и откидывались назад; от весел на воде вспенивались пузырчатые белесые пятна.

На городском берегу Свердлов поручил Морковникову и Лубоцкому идти к Рюриковым и сказал Саре:

— Ты пойдешь с Марусей и Наташей. Вообще, кто захочет к нам, а я... Я тоже скоро.

По-прежнему на берегу и на улице по-весеннему смеялись люди. Они подолгу стояли над рекой.

На откосе справа,, где над оврагом топорщился раскидистый дуб с прошлогодними листьями, кто-то молодо пел арию Гремина «Любви все возрасты покорны». В переулках лущили семечки, у ворот тренькали балалайки и страстно гудели гитары.

Городовые похаживали на перекрестках и площадях, изредка приосаниваясь и подкручивая нафабренные усы.

Могло казаться — и многим казалось,— что это и есть подлинная жизнь, утвержденная веками для городов российских.

6. ВТОРОЙ АРЕСТ

В кабинете начальника охранного отделения через спинку пустого кресла в углу свисают красные муаровые ленты с узкими черными каемками. На лентах золотом впечатаны слова: «И ты погиб, не требуя венца», «Ты не щадил в борьбе усилий честных — мы не забудем твоей гибели, товарищ», «Не нужно плакать, а мстить».

Ротмистр, сидевший за тяжелым и мрачным, как саркофаг, резным письменным столом, прицелился взглядом в ленты и решил, что они мешают ему соображать. Он встал, сухой и бесцветный, подошел к креслу и, стараясь не читать и все-таки читая отдельные неприятные слова, перевесил ленты изнанкой одна на одну.

— Шляпа! — скривив рот, тонким голосом сказал ротмистр в адрес отсутствующего вахмистра.

Вернувшись к своему месту и не садясь, ротмистр уперся указательным пальцем в кнопку электрического звонка на столе около массивной лампы с белым абажуром, плоским, как бескозырка.

Дверь приотворилась тихо и виновато; грузный вахмистр с серебряным шевроном на рукаве втиснулся в кабинет, лихо сделал по-солдатски большой шаг вбок, стал во фронт, громыхнув шпорами.

Вахмистр простоял в напряжении, пока ротмистр обходил письменный стол, садился в кресло, и тогда едва заметным движением ослабил ноги.

— Это,— ротмистр острым подбородком показал в угол кабинета,— который день?

Вахмистр, не поворачивая головы, скосил на кресло глаза, пособображал и кашлянул в руку.

— Вещественный документ, ваше высокородие, пятый день. Не осмелился тревожить — потому оно предоставлено к допросу.

— Шляпа! — опять тонким голосом, но на этот раз покомандному отрывисто сказал ротмистр.— Убрать!

Федоренко с готовностью ринулся к креслу, бережно приподнял ленты и на вытянутых руках понес их бесшумно к двери.

Но ротмистр передумал. Ленты были конфискованы четыре дня назад и сразу испортили нижегородским властям настроение. Повод небольшой, а нужно действовать. Из-за лент отцу студента Рюрикова три дня не разрешали хоронить сына; вызывали хозяина магазина похоронных изделий, гробовщика, приказчиков; за некоторыми квартирами усилили наблюдение, регистрировали выходы и маршруты подозрительных лиц, а ниточка не обнаружилась.

Даже о заказчиках надписей удалось лишь установить, что приходили трое, а кто они и почему не явились за конфискованными лентами, неизвестно. Вызванные вновь поодиночке приказчики тужились все вспомнить и не могли, а на упреки в нерадении понесли такое, что оказалось: приходило трое, а примет наговорено на пять человек.

— Отставить, Федоренко,— задумчиво проговорил ротмистр, вспомнив, что к нему должны привести еще одного подозреваемого, хотя и не имеющего ни одной из примет заказчика, но по некоторым вдохновенным сообра-

жениям ротмистра, может быть, главаря всего случившегося вчера, некоего Якова Свердлова.

Вахмистр подходил к креслу и расправлял на ходу ленты, чтобы водворить их на место в порядке, когда услышал новый приказ:

— Не сюда! К тем!

«Теми» были тоже ленты, лежавшие промятой горкой на широком подоконнике. Их сорвали с венков на могиле сегодня на рассвете. Ленты были попроще, из кумача, без траурных каемок, но слова, выведенные на них крупной прописью белилами, были те же, что напечатанные золотом на муаре.

Оставшись в одиночестве, ротмистр полистал бумаги на столе, извлек из картонной рыжей папки единственную там бумажку и в пятый раз перечитал ее.

Это было донесение участкового пристава «о нарушении порядка на похоронах студента Рюрикова».

Беспорядок все-таки состоялся. Пристав не без полета в мыслях витиевато доносил о «незамеченных при отпевании прокламациях, из коих впоследствии обнаружены в церкви на полу пять, по всей наружной видимости читанные несколькими лицами, и одна, не замеченная в прочтении,— в свечном ящике, представленная церковным старостой». Далее сообщалось о речи высланного на родину, в Нижний Новгород, за вредный образ мыслей Бориса Морковникова, «личности возмутительного свойства, который, вышеозначенный Морковников, после божественного отпевания произнес слова такого содержания, что покойный был борцом будто за свободу и пал, не дождавшись будто зари свободы, но она близка (это слово сопровождено вопросительным и восклицательным знаками) и будто настанет; что эти извращенные слова вообще сходственны с обнаруженными впоследствии подобными экземплярами прокламаций; что на могиле при бросании земли были другие речи противозаконного смысла неустановленных личностей по укромности места расположения избранной могилы, а на улице при шествии пелись недозволенные песни: «Вы жертвою пали» и называемая «Марсельеза», после чего расторопными усилиями вверенных чинов полиции удалось в корне пресечь скопление, обнаружив в оном несколько лиц, прежде не замеченных».

В заключение стояло: «Несмотря на полное усердие чинов полиции, при толчее народа зачинщики скрылись

из поля зрения без последствий. Однако, по негласным сведениям, известный Яков Свердлов фактически обнаружился на кладбище, но не в церкви, и был уличен при следующих обстоятельствах: о чем показывают городовой Василий Досугин и подрядчик Иван Артемьевич Смирнов, кои видели, как одна, прочим подобная прокламация была вынута некоторой дочерью чиновника Наталией Ивановной Соколовской на паперти из кармана, переложена в рукав, а когда ее загородили Яков Свердлов и Борис Морковников, то она приколола булавками прокламацию из рукава к церковной двери возле крышки гроба».

Ротмистр еще раз перечел, взяв в руки толстый синий карандаш, подчеркнул «Яков Свердлов», «на кладбище, но не в церкви», «на паперти» и уставился взглядом в окно.

Подумав, ротмистр не смог удержаться и выпалил свое безапелляционное решение вслух (как произносит это слово его домашний ученый попугай):

— Дур-рак!

Соображения жандармского ротмистра были правильны: Свердлов принял самое деятельное участие в организации выступлений на кладбище. Хотя на этот раз и не без борьбы с самим собой.

Когда Свердлов бежал от реки по весенним городским улицам, чтобы сказать Чачиной о случившемся, он не сомневался: комитет использует событие для политического выступления. Казалось, иначе не могло быть. Слишком ярок по жуткой простоте, типичен этот случай бессмысленной и наглой жестокости нижегородских властей.

Бывают дни, когда нельзя молчать, когда пора громко и всенародно крикнуть людям: «Глядите, как вы, простые люди,— а вас десятки миллионов,— как вы бесправны и бессильны в одиночку!» Если и не пора, так, в общем, этот случай должен потревожить, разбередить душу каждого честного человека... Какой был печальный и растерянный взгляд у Наташи! А у Бориса от злости глаза стали оловянными и даже побелели скулы. В городе найдутся десятки людей, которым нужна лишь одна капля, чтобы переполниться возмущением и стать на нашу сторону.

Чем больше думал Свердлов, тем горячее готов был отстаивать необходимость широко выступить с протестом.

Впрочем, к чему доказывать — все ясно, как дважды два четыре.

У Чачиной Свердлов застал члена комитета Пискунова и «Деда». На окне по нижней половине были задернуты пестрые сборчатые занавески, снаружи прикрыты ставни; на столе горела лампа, освещая бок самовара, недопитый крепкий чай в стакане перед «Дедом».

Свердлов осмотрелся и вместо взволнованной речи произнес тихо и твердо, как на берегу около лодок, те же два слова:

— Умер Рюриков! — и повернулся, чтобы поискать, куда положить шляпу.

Чачина, ссутулившись, вскочила, схватила из коробки на комоде папиросу, наспех помяла ее, не сразу сумела прикурить от лампы — и в несколько шагов прошла к двери. «Дед» беспокойно завозился на стуле и, повернув голову, подергивая плечом, посмотрел на то место, где только что находился Свердлов. Пискунов, обычно спокойный и медлительный, тоже порывисто встал, но двигаться было некуда. Он поднял со стола ближайший предмет — это оказалась сахарница,— обнаружил, что она открыта, прикрыл на весу круглой с синим ободком крышкой и поставил дальше, под лампу.

— Что же, дело исчерпывающе ясное. Вздохами ничему не поможем, нужно действовать. Сейчас требуется кому-нибудь сходить к Рюриковым. Посмотреть, как все обстоит, помочь. Деньгами там, насчет могилы и вообще, что в таких случаях полагается. Хорошо бы венок с подходящей такой броской, впечатляющей надписью, а? Это обязательно!

Пискунов бросил быстрый взгляд на Чачину. Она стояла, плотно прислонившись спиной к белым изразцам высокой и широкой печки, и неизвестно было, слушала она или нет.

— Если бы сейчас текст для прокламации — можно сразу на двух гектографах,— использовав паузу и переводя взгляд с Чачиной на Пискунова, проговорил Свердлов.— У Щепетильниковой и у Ростопчина все есть. А к Рюриковым пошел Борис. Вообще, чтобы не медлить, у меня дома кое-кто дожидается. Обязательно нужно действовать! Факт такой силы, по-моему, сам по себе...

— Ты, Оля, как? — перебил Свердлова, даже не взглянув на него, Пискунов.— Что думаешь?

Он подождал и снова взял сахарницу, повертел крышку.

— Минутку, минутку. Еще не всё,— продолжая неотрывно глядеть вверх, сказала Чачина.

«Дед» искоса посмотрел на нее, на Пискунова и перевел взгляд на Свердлова:

— Да-а, юноша, правильно, факт вопиющий, правильно. А факт «сам по себе»...— «Дед» прищурился, развел руки с растопыренными пальцами, как крылья, и опустил их.— Что это такое: «по себе»? Плохо.

— Я, кажется, догадался,— вслух произнес Пискунов.— Определенно догадываюсь, о чем ты думаешь. И ты...

По тону, каким заговорил Пискунов, было ясно, что он должен досказать: «Ты права!»

Чачина соединила руки и, подержав их так, решительно прошла и села на кровать:

— Товарищи, как ни странно, но выходит, что я против. Но нельзя, нельзя... Вначале я тоже сразу, как, например, Свердлов — это все равно кто,— как Свердлов, подумала, как бы так ответить, чтобы «им» стало жарко.

— Я вовсе не просто потому, что возмутительно,— быстро вставил Свердлов,— это, по-моему, не требует доказательств, а еще самое важное — местный факт, который...

— Подождите, Свердлов! Вы зря горячитесь. Я тоже кое-что смыслю. Действительно, трудно, почти немыслимо и недопустимо оставлять, не реагировать на произвол, на такое наглое бессердечие и издевательство над человеческой личностью. Вероятно.... Пусть даже, я уверена, да, уверена, что нас многие осудят, если мы ничего не предпримем, но бывают обстоятельства, когда приходится отказываться от, казалось бы, очевидных вещей.

Свердлов сорвался с места и заходил по комнате:

— Нельзя, нельзя, нельзя... Это как измена делу.

— Измена? — выкрикнула Чачина, выпрямляясь и бледнея.

— Юноша, успокойтесь! — «Дед» ухватил одной рукой Свердлова за рукав и замахал другой на Чачину.

— Ну, не измена,— Свердлов взъерошил на голове волосы, — конечно, не измена, а... А все-таки недопустимо не организовать протеста. Выступления все равно возникнут. Сами собой! И что же, комитета будто нет?

— Хорошо, пусть! Не будем бояться громких слов. Преступление? Назовем так. Все равно. Но вы сейчас возь-

мете свои слова назад, Свердлов, когда подумаете. Вот. Я только еще скажу предварительно, что вспомнила, когда думала, товарищи, как один человек,— Чачина передохнула и заговорила ровнее,— я повторяю, один человек говорил: в нашей работе есть одно трудное условие — не спешить. Иногда это очень, очень трудно. Чертовски трудно. Иногда кажется все сразу ясным, неоспоримым. И как будто думать нечего. Не поддавайтесь. Вы обязаны помнить, что, говоря по существу, действовать будете не вы: мы лишь толкаем, а действуют они — рабочие массы. Следовательно, мы обязаны...— иначе какие же мы руководители, грош нам цена! — мы обязаны реально оценивать общую обстановку, всю цепь событий и только тогда, семь раз примерив, тогда действовать. И действовать решительно... Я передала, конечно, приблизительно, товарищи, но за смысл ручаюсь.

— Очень хорошо напомнила! — не выдержал Пискунов. Он уже несколько раз садился и снова вставал.— Главное, что ведь мы все это знаем, а как до дела, так ничего подобного... забываем! Должен сказать: со мной частенько бывает — спохватишься, а потом: ладно, как-нибудь образуется. И ты, Оля... ты прости меня, но все мы такие. Должно быть, молодость, опыта не хватает. Вот какая штука. А у нас экзамен. Ты ведь на Первое мая намекаешь, как я понимаю. Очень правильно — надо обдумать.

— Конечно, Первое мая! А как же? Товарищи, Пискунов верно сказал: экзамен. Если мы провалим демонстрацию в Сормове, значит, мы болтуны. Мы подорвем веру в наш комитет как организацию. Нельзя, нельзя этого допустить! Это самоубийство! Поэтому я, как это ни тяжело, Свердлов, я против выступления сейчас, даже в таком случае...

Свердлов слушал Чачину все время внимательно. В какой-то степени ее речь охлаждала его, и те мысли и ясные доводы, которые волновали по дороге сюда (и которые он пытался восстановить), переживались спокойнее. Но когда Чачина твердо сказала: «Я против», и Свердлову тотчас вновь вспомнились собственные мысли и ощущения на берегу, и глаза Наташи, Бориса и других, и представилось, что так же, как Борис, воспримут известие о смерти Рюрикова многие в городе,— Свердлов заходил по комнате на узком пространстве между широкой кроватью и дверью.

Невозможно! Невозможно остаться в стороне. Будет преступлением, хотя бы по отношению к Рюрикову, товарищу, отдавшему жизнь за общее дело, если не пойти на кладбище. А если пойти, так дико промолчать, не выступить с протестом, не призывать к борьбе. Дико! И похороны будут — их не отложишь.

Эта простая мысль ошеломила. Лицо Свердлова посветлело, он приостановился.

— Ольга Ивановна, можно все-таки сказать? — Он проговорил это мягко и медленно, стараясь привести в равновесие мысли и готовясь высказать снова все свои доводы как можно спокойнее: может быть, так они прозвучат убедительнее.

Ни Чачина, ни Пискунов, ни «Дед» не откликнулись. Они сидели каждый по-своему: Чачина, накинув вязаный платок, устроилась в уголке на кровати и смотрела вверх. «Дед» облокотился одной рукой на стол, сгорбился, точно совсем постарел; Пискунов, тоже неподвижный, сидел спиной к столу, упираясь руками в широко раздвинутые колени, и в задумчивости, только едва-едва приподнимал над коленями пальцы и опускал их, и все трое, казалось, были сейчас далеко, наедине с собой.

Неожиданная и чем-то показавшаяся неловкой пауза спугнула спокойствие Свердлова.

— Я хотел сказать,— еще глухо проговорил он, но тотчас повысил голос,— по-моему... во-первых, похороны нельзя отложить. Они все равно будут. Произойдут в Нижнем, а не где-нибудь. И вся интеллигенция города, передовая конечно, пойдет хоронить товарища, загубленного царскими палачами. В этом нет никакого сомнения. В этом вы меня, то есть в противном... нет, в этом вы меня не разубедите. И потом, похороны... Ну хорошо, полиция примет свои меры, будет разгонять, но еще вопрос, удастся ли ей. Если у нас все будет организовано как надо, я вот убежден, что ничего у них не выйдет. Потом, я вовсе не предлагаю вызывать из Сормова на похороны. Можно, наоборот, предупредить наших, чтобы не ходили, если это опасно. Ну да, это верно: опасно. Но если сормовичей не будет, то, почему мы подведем под удар и сорвем Первое мая в Сормове, я не понимаю.

— Вы многого еще не понимаете, Свердлов,— сказала в тишине Чачина, и голос прозвучал устало.

Свердлов не вспыхнул — его поразили не слова, а уста-

лость, которую он воспринял как покорность, как намек на то, что Чачина почти согласна с его доводами. Он обрадовался. В голове немедленно все прояснилось, и он начал — теперь можно было не очень заботиться о фразах — поспешно выкладывать все свои соображения.

Он говорил о том, как необходимо выступить, потому что случившееся возмущает всех (преступно с точки зрения наших конечных задач не воспользоваться возмущением) и волнует (пожалуй, кое на кого подействует в обратном смысле, то есть в смысле подавления воли, а демонстрация покажет, что ничего подобного — революционное движение растет, крепнет). Потом перечислил, что́ можно и нужно сделать, как сделать и как это найдет самый широкий отклик в разных слоях населения.

— Это очень для нас важно: идет же настоящий день. Идет шумный, бурливый, сметающий по пути расслабленное, хилое, старое. Близко заря...

Свердлов внезапно остановился. Он вдруг услышал, как пышно звучат слова. Они были теми самыми словами, которые соответствовали его мыслям,— они так хорошо звучали в нем самом, волновали жарким волнением и были полны еще каким-то большим, своим смыслом, а тут, произнесенные вслух, вдруг оказались оторванными от своих истоков, пустыми и потому звучащими ненатурально красиво. Он смутился и не сразу нашел, как закончить.

— Не могу... я лично не могу не участвовать в похоронах. Просто не могу!

Он неловко опустился на стул у стены рядом с «Дедом» и порывисто вздохнул.

«Дед» медленно поднял руку, погладил Свердлова по плечу. Чачина посмотрела на Свердлова потемневшим взглядом, как бы обнимая его всего. Потом сделала резкое движение головой и встала.

Но сказать она не успела, ее предупредил Пискунов.

— Хорошо, Свердлов,— сказал он.— Все, что вы говорили, понятно. И правильно, Свердлов, правильно! Но давайте-ка попробуем разобраться в нашей обстановке. Давайте представим, так сказать, реально, что будет, помня все время о Первом мая в Сормове как для нас главнейшем.

Пискунов заговорил доброжелательно, спокойно. Перечислил все доводы Свердлова, добавил свои. Он соглашался, что в похоронах следовало бы участвовать, и допу-

скал два исхода демонстрации. Один — совсем неудачный, если полиция сумеет окружить ее и арестовать на месте несколько человек (конечно, комитетских!). При втором варианте, если полиция не соберет достаточных сил, она никого не возьмет, но шпики, или городовые, или околоточный кого-то приметят.

— Не знаю, что лучше,— наконец произнес Пискунов с угрозой.— Ну, арестуют на следующий день. А за остальными такую учредят слежку, что ходу не дадут. Вот какая штука! Учтите: кто не попадет им в лапы, тем придется побывать в Сормове не один раз, и там сцапают. Да еще сормовских прихватят. Получается, Свердлов, что куда ни кинь, все клин. В этом и другом случае главные, так сказать, наши силы окажутся за решеткой. Ну, и, значит, Первое мая — либо ничего, либо не тот масштаб. А за это нас никто по головке не погладит. Спросят: «Чем вы, товарищи, думали?»

Свердлов сидел нахохлившись около стола. Он пристально смотрел на освещенный лампой бок медного самовара. Неужели все может быть так, как говорит Пискунов? Трудно возразить — может. Сормово — главнее. Значит, отказаться?

Пискунов посмотрел на него и перевел взгляд на Чачину:

— Ты, Ольга Ивановна, примерно так же думаешь?

— Приблизительно так.

Вопреки словам голос Чачиной прозвучал решительно.

Свердлов не слышал ее. Ему хотелось и поскорее обдумать все, что навалилось так неожиданно, и обдумать последовательно, чтобы решить наконец, как же действовать и вообще и ему самому. А думалось сразу обо всем: и о правильности слов Чачиной и Пискунова, и о том, что необходимо сказать в прокламации, и о надписях на лентах, кому что поручить лучше, о Ростопчине и его новом, скоростном способе печатать на гектографе, о сормовской типографии, о сормовской демонстрации и о том, что провал Первого мая недопустим. Обо всем думалось не так, как было нужно. Это непривычное мельканье обрывистых мыслей и образов Ростопчина, Кати Одинцовой, Наташиных глаз, мальчишек на ржавом скате крыши, половодья, а в то же время где-то присутствовала мысль, что сейчас все решится, что надо решать,— все это мешало сосредоточиться.

— Вы на это пойдете, Свердлов? — спросила Чачина.— С условием немедля уехать из Нижнего на две недели. Сможете?

Свердлов выпрямился. Все смотрели на него.

— Ну вот,— сказала Чачина, передернув плечами,— он ничего не слушал!

И она повторила, что сегодня же поговорит кое с кем из комитета, что, пожалуй, она согласна с предложением Пискунова:

— Видимо, так же и комитет решит. Слушайте внимательно. Во-первых, членам комитета будет категорически запрещено участвовать на похоронах. Но мы выпускаем прокламацию, которую распространите вы, Свердлов, через своих... ну, молодежь, одним словом. И вообще вся организация — на вас. Но после похорон вы исчезаете на две недели из города.

— Я согласен! — Свердлов забегал по комнате.— Прокламацию можно сейчас набросать. Вот с деньгами... Ничего, соберем. А почему уезжать? Меня не арестуют!

— Категорически, Свердлов! На похоронах могут не арестовать, если вы сумеете держаться в стороне.

— Буду. В том-то и дело, что буду. Меня не поймают.

— Не спорьте! Так надо. Решению комитета вы подчиняетесь?

— Ну право, же... Хорошо, Ольга Ивановна, хорошо. Там посмотрим.

— Ничего не «посмотрим»! Вы даете слово?

— В общем, я согласен же!

— Нет, нет, даете слово? Иначе пусть еще кто-нибудь...

— Хорошо!

Он наскоро пожал руки и убежал.

По дороге домой, перебирая в памяти, как все происходило, Свердлов старался не думать, что сказал «хорошо». Он стал решать, что необходимо сделать в первую очередь. Таких дел масса! Деньги, ленты, узнать, где хоронят, когда. От этого же все зависит!

Но дома, когда молодежь разошлась, Свердлов не мог не вернуться к мысли о своем обещании. Оно было дано все-таки. Чачина, конечно, зря беспокоится, но... и Пискунов согласен! Комитет может решить. Посмотрим.

Поздно вечером Свердлов сказал отцу в столовой, когда они остались наедине:

— Я хотел предупредить вас, что может... может так случиться, что мне придется на несколько дней уехать. Всего на несколько дней. Тут будут похороны одного студента, замученного...

— Рюрикова? — спросил отец. Густые брови его надвинулись на глаза, и он, не поворачивая головы, исподлобья взглянул на сына.

Свердлов кивнул.

— Так. «Придется»! — насмешливо произнес отец.

Свердлов выпрямился и пристально, спокойно посмотрел на отца. Промолчал.

— Куда же ты думаешь ехать?

— Еще не решил. Куда-нибудь.

— Что значит «куда-нибудь»? «Куда-нибудь»! Поедешь в Курск. К сестре!

Отец поднялся из-за стола, взял газету и пошел к двери в спальню. На пороге он постоял, обернулся:

— Деньги на дорогу я сейчас дам.. Если говорят ехать — значит, надо ехать.— Он сделал ударение на последних словах.— Ты понимаешь, что люди зря не говорят? Ты поедешь в Курск.

В беготне и хлопотах, если выпадали свободные минуты, Свердлов мельком и с досадой вспоминал об отъезде и все никак не мог решить, ехать или нет.

После похорон, уйдя, как ему казалось, незаметно с кладбища, Свердлов решил, что пойдет к Чачиной поговорить. Но по дороге к ней обнаружил шествующего за собой шпика в табачном котелке.

Он вернулся домой, наскоро сказал Саре, что уезжает, надел приготовленные заранее темные очки, приклеил пушистые с проседью усы. Он выбрался через лаз в стенке чулана на площадке своей лестницы в соседний дом, через двор этого дома вышел на улицу, кружным путем попал на вокзал и благополучно уехал.

Доставить в охранку главного подозреваемого не удалось.

Все-таки его арестовали. Арестовали неожиданно, на улице, в день возвращения в Нижний.

Свердлов приехал бодрым — он за две недели успел соскучиться — и его обрадовала даже ничем не примечательная с виду вокзальная площадь. Он будто узнавал

сбежавшихся к приходу поезда говорливых торговок, привставших на пролетках извозчиков, видел золоченый крендель над входом в булочную и витрину посудного магазина с голубыми и тигровыми кошками-копилками в торговом доме через площадь, и он действительно знал: нигде в мире нет второй такой площади — это Нижний. Его Нижний!

Потом был спуск к реке, знакомая тропинка вдоль белой, уступами кремлевской стены и хибарка на краю оврага, где ржавый лист жести возвещал миру: «Сапожник Федюнин Здесь».

Вид городских уголков, зданий, перекрестков, запомнившаяся почему-то на бульварной аллее скамейка или заранее угаданный за поворотом тенистый переулок со старыми липами, нависшими из-за дощатого серого забора,— все, что неповторимо и уютно принадлежит облику родного города, все это чудесно возвращало в жизнь, полную крепких юношеских надежд. И, конечно, хотелось поскорее узнать о том, что происходило здесь без него.

О первомайской демонстрации в Сормове Свердлов кое-что разведал у проводника вагона на последнем перегоне. Они были одни на площадке.

В распахнутую дверь влетал шустрый ветерок. Мимо пробегали неожиданно близкие, а потому шумливые чащи осинника или березовые перелески, зигзагами падали морщинистые овраги; дальше от полотна пестрели зелеными и бурыми заплатами крестьянские поля, вился пустынный проселок, серела избами и соломенными крышами деревенька. На фоне неба непрестанно маячили островерхие колокольни. Один раз двухтрубным кораблем на горизонте проплыла фабрика с перистыми жгутиками дыма.

— Из-за этого лямку-то и тянешь,— говорил проводник, кивая на волнистую панораму,— вроде по жизни бежишь. Земля, леса... Одним словом, гляди — и ничего не надо. А там,— он кивнул на притворенную дверь в вагон,— не знаю, как покороче сказать, но только всю человеческую жизнь чище, чем на исповеди, узнать можно. Про любое происшествие не говорю, это само собой: где бы что ни приключилось, хотя за тридевять земель, например,— проводник обернулся, чуть свел выгоревшие рыжеватые брови, и в глазах его заиграла усмешка (так озорно, лукаво и с сочувствием усмехаются молодому собеседнику люди постарше),— например, забастовка или что подобное, так ровно на месте происшествий побывал...

— Вы здешний? — Свердлов спросил почти властно.

— А вы погодите, не то я с мысли собьюсь. Ведь, что любопытно? Дома, может человек молчальник, а в поезде, особенно если пассажир дальний, он дочиста, чем живет, расскажет: и про жену, и про хозяев, и не знаю про что... Детство вспомянет. Потому у каждого человека, я так рассуждаю, что-нибудь да есть, что сочувствия просит. Выложит — должно, легче станет, вроде жизнь прояснится. Трудная она, жизнь, когда все в одиночку да в себе, молчком. Обязательно душа прорвется.

Свердлов слушал и не слушал. Он прикидывал проводника на весах и радовался, что, кажется, не ошибся, начав разговор. Мысли легко разгорались: если подходящий человек, так ведь находка! Едет в особом служебном отделении и вообще хозяин вагона. Это же здорово! Почему-то комитет интересуется железнодорожниками только как рабочим классом... И это правильно: слесари и рабочие в мастерских и депо — народ сознательный, передовой, а проводники — совсем другое дело. Но если индивидуально? Вообще каждого, с кем сталкиваешься, надо рассматривать. Только осторожно, Яков Михайлович, не спешить, а то...

На момент Свердлов смутился. Вдруг осенило, что его-то проводник рассмотрел. И, судя по тому хитрому взгляду, определил без ошибки. Подумалось, что это плохо.

Свердлов почувствовал, что краснеет, но тут же успокоил себя. В сущности, он чист — никаких компрометирующих документов в карманах нет, две недели его не было в городе — значит, выдает лишь внешность: косоворотка, пенсне, брюки в сапоги. Ну, если есть в его облике что-то присущее революционной молодежи, так это в некотором смысле даже хорошо. Пусть. Ничуть не опасно. Потому что теперь в косоворотках уйма народу, всех не арестуешь. Конечно, в особых случаях необходима маскировка, а вообще всегда не быть самим собой нелегко. Например, сейчас.

Свердлов медленным движением поправил пенсне, распахнул пиджак и, оглядывая себя, не спеша обдернул черную косоворотку с белыми, не застегнутыми на вороте пуговками.

— Значит, вы живете в Канавине... Видите ли, я спросил потому, что сам здешний, а эти дни не был в Нижнем, и меня интересует одна вещь...— Свердлов серьезно по-

смотрел в глаза проводнику, потом быстро отвел взгляд в сторону, помедлил и решился: — Не про жену! И не как живется, сколько получаете. Это потом. Как-нибудь потерплю... А... Когда вы например, выехали из Нижнего?

Проводник искоса и по-прежнему весело, с хитрецой посмотрел на Свердлова.

— Да я понима-аю,— протянул он,— что вам узнать желательно. Так я... Сегодня у нас пятое? Значит, четвертого из Москвы. День в Москве. Выходит, аккурат точно подгадал: Первого мая был дома.— И он, весело поматывая головой, подумал вслух: — Вот в Сормове учредили так учредили!.. Как первая гроза в весну: громом глушит, а на душе легко. Да. Сормово-то и канавинских взбаламутило, на год разговору хватит. А то и больше.

По мере того как проводник повествовал и попутно рассуждал о сормовской демонстрации, радостное настроение Свердлова повышалось.

— Значит, так.— Проводник стал серьезным.— С утра, говорят, не вышло на работу ползавода, а за час до гудка пошабашили и те, кто был. Второе: собрались во дворе и с красным флагом толпой на улицу. А им навстречу, значит, из леска группками, группками и опять же с флагами и, как войско какое, рядами. Но только на флагах надписи серьезные: «Да здравствует свобода!» или, например,— проводник оглянулся зачем-то на раскрытую дверь и понизил голос до шепота: — «Долой самодержавие!»

— А народ? — не сдержавшись, перебил Свердлов.

Спросил он громко, на лицо просилась улыбка. Она уже была в глазах и в восторженном взмахе руки.

— А что народ? Народ, брат, не растерялся: те «Варшавянку» поют, и эти запели, руками машут. А кто бегом бежит присоединяться. Тысяч пять, не меньше, образовалось. Как море. Такой «Первый май» развернулся...

— Ну, а полиция?

— Полиция? — переспросил проводник и, подумав, засмеялся.— Городовые туда-сюда, да разве мыслимое дело — пять тысяч остановить! Бегают округ, свистят, а подступиться не могут. Так все оборудовано было, что кто видел — до смерти не забудет. Я так рассуждаю, что в самое сердце рабочему человеку это самое Первое мая ударило. Гляди, что пролетариат может, если на дыбки встанет. Правильно я говорю?

Этот разговор не мог не обрадовать. Облачком про-

неслась мысль, что немного обидно — не был в такой день с товарищами! — но разве это существенно? Пять тысяч участников в первомайской демонстрации — вот факт. И в этом сказалась и его доля: печатал листовки, говорил с уполномоченными от цехов, выступал с призывом на летучем митинге в обед в литейном. Был на флагах лозунг «Долой самодержавие» или не был, господа «экономисты»? А под ним собралось из двенадцати тысяч рабочих на заводе не двадцать, не тридцать человек, а пять тысяч. Кто прав: «Искра» или вы?

Чем глубже Свердлов обдумывал совершившееся, тем больше ему хотелось поскорее увидеть своих. Разузнать все поподробнее. И работать, работать. Вот это жизнь!

Свердлов смотрел на бегущие перелески, а видел шумящую толпу, солнечный день, красные флаги над поющей, шагающей в ногу массой сильных, радостно возбужденных людей.

— Скорей бы Нижний!

Когда поезд остановился, Свердлов постарался успокоиться. Он немного выждал, чтобы пройти вокзал и площадь в толпе незаметных пассажиров. Шел по улицам и переулкам не спеша. Только по лестнице взбежал, но около двери приостановился, чтобы войти домой просто, будто никуда не уезжал.

В своей комнате он широко огляделся и радостно потер руки. Потом улыбнулся остановившейся у двери Саре, поманил ее к себе, поцеловал в лоб и показал на стул, а сам присел на кровать:

— Ну, сестренка, выкладывай новости.

Сара начала сразу с Сормова — она знала, что это больше всего интересует брата, и предвкушала заранее, как будет рассказывать. Кроме того, события Первого мая, по ее собственному мнению, конечно же необычайны! Однако Свердлов после рассказа проводника не находил в словах сестры ничего нового, и Сара увидела, что он как-то не так слушает. Это, в свою очередь, мешало ей — необыкновенного не получилось.

Свердлов насторожился, только когда Сара упомянула не без колебаний, что, кажется, в Сормове были аресты.

— Много? Кого именно взяли, ты слышала?

Этот вопрос окончательно расстроил Сару. Она подумала, что все так неудачно для нее складывается: она не знает точно, кого задержали,— все по-разному говорят,

Может быть, лучше поскорее сообщить о том, что произошло в городе сегодня, несколько часов назад, чего брат не может знать? Она еще подумала и, скороговоркой, безразличным тоном сообщив, что говорят, будто арестован кто-то из подпольного комитета, а из рабочих лишь те, кто нес знамя и флаги, придвинулась и, расширив глаза, шепотом произнесла:

— Это что! Вот сегодня! Сегодня ведь у нас тоже состоялось. Мы с Соней нарочно по другой стороне улицы пошли, чтобы лучше видеть, понимаешь? Все-все наши собрались, а их потом окружила полиция. Кажется,— сказала она еще тише,— Володю арестовали.— И, словно испугавшись, что нечаянно произнесла не то, уже не очень соображая, что говорит, затараторила: — Таню Ленивову, Савину, Бориса... Я сама видела. Кажется, еще Мишу Смирнова. А Володину сестру нет, она на другую сторону перебежала.

Свердлов вскочил:

— Что же ты молчала! Как же так... И Володьку!

Он заходил по комнате. Надо сейчас же что-то предпринять. Что? К Чачиной? Может быть, и ее? Только не волноваться! Выдержка, Яков, выдержка! Во-первых... во-первых, надо все узнать...

Свердлов остановился, посмотрел внимательно на Сару. Она сидела на стуле, настороженно выпрямившись.

— Я сейчас!

Свердлов, не надевая шляпы, в распахнутом пиджаке выбежал из комнаты. Сара бросилась за ним:

— Ты куда, Яша?

— К Лубоцким. Я скоро...

По улицам Свердлов шел быстро. Думал больше о том, куда бы лучше и вернее пойти потом, после Лубоцких, чтобы поточнее узнать обстановку. Мысль упорно возвращалась к Чачиной. Пробраться к ней, конечно, всего лучше, но, может быть... может быть, и нельзя... Если верно, что в Сормове взяли комитетских... Она, Пискунов, Семашко, Десницкий должны были пойти. Конечно, не обязательно, чтобы именно их всех и арестовали, а кого-нибудь. Вот это и надо постараться узнать у Володиной сестры в первую очередь. Хотя прежде... прежде надо сделать другое.

За Лубоцкого Свердлов перестал волноваться. Когда Сара сказала о его аресте, известие поразило своей неожиданностью — было досадно и больно представлять себе,

что Володя сейчас сидит в полицейской камере,— а если подойти к факту объективно, так ничего страшного в нем нет. Что Володя был участником демонстрации, надо еще доказать! И Володя отлично знает, как это было, когда Свердлова арестовали за участие в проводах Горького; они тогда обсуждали и решили: в полиции следует все отрицать, это закон для подпольщиков, или в крайнем случае отказываться давать какие-либо объяснения. Крайнего случая нет, а потому Володе ничто серьезное не угрожает. Но на квартиру Лубоцких надо идти в первую очередь. Это правильное решение, потому что может быть обыск, когда в полиции разберутся, кого именно удалось взять,— значит, сейчас дорога каждая минута. Первым делом посмотреть комнату — мало ли что может быть. Чердак обязательно. Кстати, не забыть покормить голубей.

...В переулке около дома Лубоцких Свердлов замедлил шаг. Он прошел мимо раскрытых ворот — двор пуст, Володино окно мирно распахнуто,— подождал, пока вышедшая из соседнего дома женщина уйдет за угол, и вернулся к воротам. Еще один быстрый, рыскающий по закоулкам взгляд — и бегом к крыльцу.

Колокольчик звякнул как свой: осторожно, два раза. Отворила старшая из Володиных сестер, Леля. Она побледнела, звонко сказала «ах» и засуетилась, прихлопывая дверь. Схватив Свердлова за руку, она молча и быстро повела его в столовую.

Володина мать устало сидела в кресле за столом. У окна с фикусами стояла спиной вторая Володина сестра и упрямо глядела куда-то вниз. На столе, видимо давно накрытом к чаю, высился потухший самовар, строго в ряд стояли так и не налитые чашки. Уютная прежде комната казалась незнакомой и пустынной, хотя буфет, стулья, низенький диван по-прежнему на привычных местах тесно заполняли комнату. Слышно было, как мерно отстукивают в длинном футляре стенные часы.

Володина мать вздрогнула:

— Яша!

Она закусила губу, повела головой вправо и влево, поднялась и порывисто, но не очень уверенной поступью пошла навстречу.

Свердлов рванулся вперед. Когда они встретились, Володина мать неожиданно приткнулась лбом к плечу Свердлова. Он сильно сжал ее руки выше локтей.

— Не надо. Ничего. Не стоит волноваться. Это пустяки: подержат денька два и выпустят. Совершенные пустяки. Как со мной тогда, вы же помните? Освободили, и никаких последствий.

— Нет, Яша, совсем-совсем не пустяки,— прозвучало раздельно и тихо (и это было тревожнее, чем крик). Володина мать выпрямилась и медленно пошла к своему месту. Опустившись в кресло, она шепотом и заикаясь выдохнула: — Он у...ударил пристава.

Свердлов застыл с приподнятыми руками, мрачно и сосредоточенно глядя поверх кресла.

— Она,— мать перевела взгляд на Лелю и выкрикнула,— она сама видела, Яша! По лицу! — Мать схватила со стола скомканный платочек, поднесла к губам, вздрагивая, закусила конец платка.

Свердлов мельком глянул в сторону Лели, подошел к столу и, размашисто отодвинув стул, сел. Обеими руками провел по краю стола и свел их.

— Да...— Он встал.— Я думаю, вот что... Во-первых, надо сейчас же посмотреть — на всякий случай — в комнате и на чердаке, нет ли чего лишнего. Могут ведь, черт их знает... В общем, я сейчас посмотрю, а потом будем решать, как действовать.

В дверях Свердлов осторожно оглянулся на Лелю.

— Да, да, я сейчас с вами иду.

Они прошли коридор гуськом. Володина комната стояла открытой. Свердлов пропустил Лелю, прикрыл дверь и, мельком взглянув на аккуратный маленький письменный стол, направился в угол к прибитой на стене вешалке, где висели тужурка, летнее пальтишко и домашние брюки.

— Я уже смотрела, Яков, здесь все на виду. А про чердак не знаю.— Леля притронулась к столу, уронила на него вытянутые руки, низко склонила голову.— Ужасно!

Свердлов ощупал внутренние карманы у пальто, опустился на колени, с некоторым усилием оторвал рейку плинтуса, вытянул из щели две брошюрки, сунул себе в карманы, подправил гвозди на рейке и водворил ее на место, аккуратно пристукнув ребром ладони.

Леля молча следила за ним и, когда он, отряхивая штаны на коленях, подошел, виновато посмотрела в его глаза.

— Вот что мы сделаем,— отрывисто сказал Свердлов, и Леле показалось, что перед ней стоит в чем-то главном совсем не тот привычный Яша Свердлов, младший това-

рищ Володи,— чердак беру на себя, а вы, Леля,— Свердлов вытянул с полки на этажерку книгу за корешок и помотал ее из стороны в сторону,— вот так, Леля, каждую книгу.

Леля механически кивнула головой и поспешно дотронулась рукой до Свердлова:

— Это очень плохо, очень, что он ударил пристава?

— Лучше бы потом...— Свердлов посмотрел на дверь, как бы намереваясь сорваться и уйти на чердак, но желание знать подробности о Володе, о выступлении в городе, желание, которое он прогонял, поминутно напоминая себе мысленно: «Дело, прежде всего конкретное дело!» — это желание сейчас прорвалось, и он стремительно присел на стул, пододвинулся ближе к Леле.— Вкратце, Леля, самое главное! Что там произошло? Это была городская демонстрация?

Леля едва слышно произнесла:

— Конечно, все не так...— и громко перебила себя: — Не надо было говорить маме! Все так неожиданно вышло. Когда Володю схватил городовой...— Выдержки не хватило, и у нее задрожали губы, сморщился подбородок.

Свердлов отвернулся.

— Теперь... сейчас это уже в прошлом, Леля, не имеет значения, то есть нельзя поправить, но мы кое-что предпримем. Только вы расскажите мне, как было, с самого начала. Ну, собрались. Сколько?

Леля, путаясь и перескакивая от одного на другое, начала рассказывать, как сегодня в полдень собралось в назначенное место совсем немного, всего человек тридцать, и решено было подождать. Вдруг полиция — много городовых сразу — окружила, откуда-то появились две подводы, и пристав хотел силой заставить сесть на них, чтобы поскорее отвезти в участок. Но, конечно, все отказались подчиниться. И ничего городовые не могли поделать. По дороге, окруженные полицией, все шли и пели «Варшавянку», «Марсельезу», «Вы жертвою пали...»

— Знаете, Яша, все равно получилась демонстрация. Даже сильнее впечатление — окруженные, идут в тюрьму и поют! Представляете? А потом... Пристав вообще все время кричал, грубил, толкал, а потом, когда кто-то крикнул: «Долой самодержавие!», пристав почему-то выхватил за руку из толпы арестованных Володю — он с краю шел,— а Володя начал вырываться... Тут, кажется, еще городовой подбежал, но Володя все равно вырвался почти,

и пристав ударил его кулаком в спину, а тогда Володя обернулся и дал пощечину приставу. Володю схватил было городовой, но наши отбили и сразу втянули Володю к себе, окружили, остановились. Не выдают и никого не подпускают. Пристав револьвер вынул, а потом испугался и поскорее махнул рукой, чтобы пошли. Опять пели. Володя со всеми вместе до самого участка... Яша! Что ему будет?

— Ну, что-нибудь... что-нибудь придумаем. Он просто защищался! Его не имели права хватать, раз подчинились и пошли в участок. Посмотрим... Конечно, плохо, что Володя не удержался, но ничего... Я думаю, ничего. В общем, безвыходных положений не бывает. Безусловно, будем действовать. Об этом и просить нечего, это само собой, Леля. Я сейчас сбегаю наверх, а вы переберите книжки...

На чердаке Свердлов первым делом подошел к клетке с голубями. Там, в углу под досками, они с Володей прятали револьвер «бульдог». Револьвер был здесь. Свердлов вынул его, подержал, словно взвешивая на руке, задумавшись, приподнял еще раз, посмотрел на него и сунул на прежнее место. Оглянувшись, постоял и решительно пошел к кучке хлама, сдвинул доски от разломанной бочки, вытащил из кармана найденные в комнате брошюрки, закопал их в землю, разровнял и снова привалил досками. Пошарив в углу, нашел стеклянную надтреснутую банку, разбил ее и ногой подгреб осколки к доскам. Пусть-ка притронутся! Осмотрелся и пошел вниз.

На площадке Свердлову пришлось затаиться — прозвенел колокольчик, хлопнула входная дверь. Кто-то прошел в столовую. Свердлов прислушался. Раздались быстрые и мелкие шаги. Из темноты вынырнул силуэт младшей Володиной сестры.

— Яша, там пришла одна знакомая. К маме. Просто так. А все равно мама сказала, чтобы лучше пусть никто вас не увидит. Она сказала, чтобы через черный ход.

Свердлов на цыпочках прошел коридором на кухню. Под окнами пробежал согнувшись и выскользнул на улицу.

Теперь надо было идти к Чачиной. Но поздно — библиотека закрыта. Идти на квартиру опасно — вдруг Чачина действительно арестована в Сормове, тогда на квартире может быть засада. Безусловно, нужно утром просто прийти в библиотеку, как читатель.

Свердлов медленно шел по городу. Улицы и дома выглядели в сумраке холодными и враждебными.

Конечно, с главным все хорошо. Главное — что в Сормове вышло столько народу, это самое главное, и это хорошо. Но Володя? Ударил! Хладнокровный, рассудительный Володька... Может быть, нельзя, трудно было не ударить, да получилось плохо. Могут закатать в Сибирь. Как все-таки верно упрекает нас Чачина в горячности! Если еще ее взяли, Пискунова, работа безусловно пострадает. Будет трудно.

Около своих ворот Свердлов на момент поднял голову — из ворот будто выглянул кто-то и спрятался. Он вздрогнул. И около тротуара стоит задом извозчичья пролетка с поднятым верхом.

Лучше пройти мимо. Или назад?

Свердлов оглянулся и тут же, в двух шагах, встретил испуганный и настороженный взгляд чем-то знакомого человека, увидел надетый набекрень котелок табачного цвета, метнувшуюся ко рту руку с черным полицейским свистком. Он рванулся вперед.

Но было поздно. На свисток вынырнули двое из ворот с растопыренными руками. Обхватили и неслаженно потянули к пролетке, у которой шпик уже отстегивал порыжевший, в трещинах кожаный фартук.

Вырываться? Бесполезно. Протестовать? Перед кем?

Свердлов выпрямился и одновременно рывком освободил руки:

— Не хватать!

Он медленно, по очереди посмотрел на шпика, на городовых. Хотелось сказать им что-то резкое и презрительное, но он шагнул в пролетку молча, порывисто сел в угол.

Думалось отрывочно и сумбурно. Управлять своими движениями оказалось куда легче, чем мыслями.

Жандармский ротмистр, вызванный прокурором для большого разговора, вернулся к себе в охранное отделение расстроенным и сердитым на всех: на прокурора, на полицию, на арестованных, на неуловимый подпольный комитет и на самого себя.

Он бросил в кресло любимый светло-желтый портфель с затейливой застежкой в виде бронзовой нимфы с бубном и, вместо того чтобы сесть к письменному столу, опустился на неуютный кожаный диван. Морщась, противно

холодными пальцами расстегнул крючок на высоком воротнике мундира.

— Все хороши. Прокурор называется! Шляпа!

Все складывалось омерзительно еще с той проклятой минуты, как сормовский пристав сообщил, что идет небывалое шествие с красными флагами и выкриками «Долой самодержавие!», что к рабочим нет никакой возможности подступиться.

— Форменная баба, подлец!

Два дня назад едва не произошла манифестация в самом Нижнем, и тоже хороши — допустили распевать марсельезы по дороге в участок!

Сегодня Петербург требует сурового наказания для всех арестованных, и ребенку ясно: манифестацию оборудовали социалисты, особенно эти искровцы, чтоб черт их побрал! А прокурор, видите ли, рассуждает о дополнительных и бесспорных уликах для обвинения. Может быть, прикажете выставить в зале суда вахмистра Федоренко с красным знаменем в руках для публичного обозрения? Или развесить, господин прокурор, плакаты с возмутительными словами: «Мы требуем свободы слова и собраний»?

«Канальи! Требуют! «Мы»! Кто они такие — мы?»

Ротмистр прекрасно понимал, чего требует прокурор, но согласиться — это признать, что в отсутствии материала для осуждения каждого из сотни арестованных виновато в первую очередь охранное отделение. Кроме того, в состоявшемся разговоре у прокурора ротмистру пришлось, принимая во внимание табель о рангах, больше помалкивать. Только теперь, у себя в кабинете, представлялась возможность хотя бы задним числом отвести душу и установить свое умственное превосходство.

Ротмистр кривил губы, выбрасывая реплики. Он улыбался, составляя язвительную речь, которую мог бы произнести. Впрочем, разве в словах суть?

Обретя некоторое равновесие, ротмистр пересел к столу, достал портфель, полюбовался нимфой, вынул бумаги.

Кое в чем прокурор, к сожалению, прав. Трудные времена. Законность! Европа смотрит. Ему не позавидуешь.

— Федоренко! Чаю!

Разумеется, было бы глупо оспаривать, что проще простого обвинить пойманных с поличным на месте преступления. Однако же ведь и подобных субъектов сумели взять. Пожалуйста — Заломов, рыжий Быков, Самылин



несли красное знамя. Не допускали городовых, дрались. Все видели. Этим голубчикам не отвертеться — явная Сибирь. Погуляли. Никакие Европы не пикнут: сопротивление властям при несении службы.

Ротмистр осторожно на блюдце поднял стакан с чаем, посмотрел на свет — крепкий. Притронулся пальцем к стакану — горячий. В задумчивости он опустил три куска сахару, ломтик лимона, поболтал серебряной ложечкой, сделал пробный маленький глоток. Хорошо.

Ротмистр отставил пока чай, разыскал список арестованных и принялся ставить карандашом аккуратные галочки против фамилий тех лиц, которых, по его мнению, можно без труда осудить. Временами он задумывался, искал среди бумаг протоколы допросов, перечитывал их и, повертев карандаш, иногда вырисовывал вместо галки малюсенький вопросительный знак. Дойдя до двух последних в списке фамилий, ротмистр отшвырнул карандаш.

И перед ним опять возникло бритое, обрюзгшее лицо прокурора:

«Ваши соображения, ротмистр, не лишены... э... э... в частной беседе, я сказал бы, остроумия. Разные сопоставления и прочая логика мыслей. А между тем, молодой человек, кодекс уголовного и гражданского судопроизводства, к вашему сведению, не мыслей требует, но фактов. Есть они у вас, доказуемы? Что? Козыри пики, а вы суете бубновую шестерку и хотите получить взятку. Вздор. Что я скажу на суде? Что, видите ли, господа судьи и присяжные заседатели, поскольку обвиняемые... э-э... госпожа Чачина и господин Десницкий в этот именно день находились в десяти верстах от своего постоянного местожительства, среди демонстрантов в поселке Сормово, я требую признания их виновными: в организации указанной демонстрации, в доставке знамен и плакатов и, наконец, в принадлежности к подпольной организации РСДРП. Так, по-вашему? А обвиняемые заявили, что приехали на лодке, гуляли. Вы можете опровергнуть? Никоим образом, ибо все прочие арестованные по делу в один голос утверждают: «Этих мы не знаем, в первый раз видим». Вы даже не позаботились подобрать настоящего свидетеля. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю? Мы же с вами, хоть и разными путями, делаем одно общее дело. Наши интересы одни — ergo: мы обязаны действовать заодно и помогать друг другу».

Припоминая, что и, главное, как говорил прокурор, ротмистр вновь закипел. В конце концов, он не мальчишка! Он всё, решительно всё понимает и отличнейшим образом видит, куда гнет прокурор. Извините — это ваше дело говорить в суде речи и добиваться осуждения подсудимых. На то вы и прокурор, господин прокурор! А у охранно-розыскного отделения достаточно своих забот, черт возьми! Он, ротмистр, слава богу, знает, что нужно и чего не следует делать. Свидетеля он не даст! Дудки-с, не дурак. У нас все есть, вызвать можно хотя бы этого...

Ротмистр достал из небольшого несгораемого шкафа позади кресла личную записную книжку, где у него для памяти были выписаны фамилии секретных сотрудников. Он подержал книжку на ладони, но так и не раскрыл ее, закинул обратно. Перечитывать не имело смысла — ротмистр знал без чтения, что осведомителей из сормовских рабочих у него раз, два — и обчелся, и лишь один из них, помощник мастера Пятницкий, кое на что годен.

Что он, сам себе враг, чтобы вызывать в суд Пятницкого? Выйдет ли толк, неизвестно,— адвокаты могут сбить свидетеля вопросами, поймают на какой-нибудь мелочи, опорочат, и, того гляди, суд оправдает обвиняемых, а тогда к ним не применишь даже меры административного порядка; а что осведомитель будет разоблачен, так это как пить дать. Нет-с, господин прокурор, давайте будем заботиться каждый о себе.

Ротмистр прихлопнул ладонью список арестованных и сдвинул его в сторону. Пусть-ка господин прокурор сам покряхтит, подбирая статьи уголовного кодекса. А у ротмистра есть свои дела.

Тут в памяти выплыла фамилия последнего арестованного: «Свердлов», и ротмистр с досадой щелкнул пальцами.

Это был, пожалуй, первый столь обидный и неприятный случай в его практике. Свердлов — мальчишка, а есть в нем какое-то такое превосходство, которое нестерпимо ощущать, а чем разбить, уничтожить это ощущение — неизвестно. Кричать? Грозить?

Ротмистр пробовал, да что вышло? Лучше не вспоминать. Сначала, как полагается, уговаривал сознаться во всем и этим облегчить свою участь, потом грозил спокойно, с доводами, затем повысил голос, накричал, в конце кричал, как никогда, кажется, не кричал, а этот... Никуда не годится пришпиленная к нему кличка «Малыш» — этот

арестованный так молчал и смотрел, что ясно: не он, а ротмистр мальчишка! Да что смотрел — вся манера держаться, интонации...

«Вот, пожалуйста,— ротмистр повел пальцем по строчкам протокола,— отвечает: «Участия в демонстрации на похоронах Рюрикова не принимал. На кладбище был не более десяти минут. Венки, по всей вероятности, были на крышке гроба; были ли ленты с надписями, не помню. Я не видел, чтобы кто-нибудь накалывал прокламации на крышку гроба, а также на стенку. Соколовскую знаю очень мало, встречал ее два-три раза, не больше. Была ли она во время похорон, не заметил. Бориса Морковникова я совершенно не знаю. Гурвича тоже. Павла Грацианова, Стефана Корсак, Владимира Зачинщикова, Анну Доброхотову не знаю и никогда не видел. С гимназистом Даниловым, совершенно верно, я учился в одном классе, но был ли он на похоронах, не видел. Когда тело Рюрикова несли к могиле, я сидел на скамейке, и толпа прошла мимо меня, так что говорил ли кто речь на могиле, я не слышал; слышал только, что пропели «Вечную память»; тогда ушел с кладбища домой раньше толпы...»

Отвечает, паршивец: «Не видел. Не знаю. Не помню»! Смотрит серьезно, а в глазах и уверенность и усмешка. Да еще паузу выдержит, плечом дернет и так задумчиво произнесет «не видел», что последний идиот сообразит: был, голубчик! Действовал! Голову на отсечение можно дать: знает, что я его подлую игру насквозь вижу, а ухватить не могу. Спокоен — никаких доказательств.

— Ну, погоди,— произнес, наконец, ротмистр вслух и засуетился, выискивая среди папок чистый лист бумаги с напечатанным в углу штампом начальника отделения,— я тебя, голубчик, успокою! Вы, господин прокурор, отказываетесь передать дело на Свердлова в суд — состава преступления в показаниях не видите, несовершеннолетний,— очень хорошо-с! А я вижу!

Ротмистр нашел бумагу, открыл чернильницу, осмотрел со всех сторон перо, приставил холеный указательный палец к губам, прищурился.

Как будто мысль правильная: на докладе у губернатора в пятницу показать «Дело о нарушении порядка на похоронах студента Рюрикова», предъявить секретное донесение подрядчика Смирнова и городового Василия До-

сугина; после шепнуть о несомненном участии в предварительной организации первомайских беспорядков в Сормове и в Нижнем; а вот для психологической обработки сегодня предварительно пошлем официальный документик-с. Вот и все.

Ротмистр повертел в воздухе ручку с пером перед лицом воображаемого собеседника, улыбнулся и аккуратно окунул перо в чернильницу. Склонил голову набок и застрочил:

«Секретно. Его превосходительству господину Начальнику Нижегородской губернии. Рапорт. Вследствие предложения Департамента Полиции об особо политически неблагонадежных лицах, имею честь донести Вашему Превосходительству, что проживающий в г. Нижнем Новгороде сын мещанина Яков Свердлов ведет самые деятельные сношения со всеми поднадзорными лицами; он опасный пропагандист-революционер, всюду вращается в среде политически неблагонадежных лиц и состоит членом вредного в политическом отношении кружка; по негласно собранным сведениям, он руководит делом разбрасывания прокламаций, вообще, судя по наблюдениям и негласным сведениям, Яков Свердлов самого вредного направления человек».

Ротмистр подписался с росчерком, аккуратно положил перо на подставку и потер руки. Кажется, недурно получилось. И комар носу не подточит: будете, «товарищ» Свердлов, наказаны властью начальника губернии в административном порядке и не пикнете. «Нет состава преступления», «несовершеннолетний»! Шляпа, а не прокурор! Ей-богу, шляпа.

— Федоренко! Печать для пакета! И сургуч!

Несмотря на ходатайство охранки, второй арест, как и первый, оказался непродолжительным. Однако его нельзя было считать случайностью, и над этим следовало подумать.

Вначале на первый план всё лезли ненужные подробности самого ареста: бредущая по улице старушка, завернутая, как матрешка, в темную клетчатую шаль, и как она испуганно крестилась; припоминались запах пыли и жесткие трещины на фартуке пролетки, сутулая спина извозчика с заплатой на полинялом синем армяке; виделись

испуганные глаза шпика, большерукий городовой в криво надетой фуражке.

В камере было сумеречно, пустынно; койка казалась неимоверно жесткой, и Свердлов зажмуривал и открывал глаза, ворочался с боку на бок, вздыхал. Чтобы покончить с этим состоянием томительной полудремоты, он наконец сел и вразумительно шепотом сказал:

— Ну, хватит! После драки кулаками не машут.

Он вытянул руки, сцепил их, зажал между коленями и затих. Надо думать последовательно. Конечно, то, как его арестовали, обидно. Но досадовать на факты глупо. А утешаться подобным выводом и еще того глупее. Все дело в том, что, вероятно, он допустил какую-то ошибку, и в задаче спрашивается: какую, когда? То есть сначала «когда», а потом «какую».

Развертывая события в обратном порядке, перебирая в памяти все, что было, Свердлов довольно быстро подошел к тому разговору у Чачиной, о котором совсем не вспоминал до сих пор. А ведь Чачина и Пискунов тогда будто бы знали, как все случится, не хотели ареста Свердлова. Он не боялся, спорил, а они боялись. Почему?

И в ту секунду пришла мысль, от которой внезапно заколотилось сердце и стало так радостно, что невозможно было усидеть на месте. Ему вдруг отчетливо вспомнились кем-то сказанные слова: «Каждый захваченный полицией революционер — это наше поражение».

Значит, он революционер! Его арестовали сейчас, не поймав ни на чем, просто так, потому что он член подпольной организации. Социал-демократ. Как Чачина, Пискунов, Лопата и другие. Как Ульянов!..

Свердлов оглядел камеру, и она показалась не такой мрачной.

До сих пор он, в сущности, только хотел быть революционером, кое-чем помогал, то есть был, как называется, кажется, на языке охранки, «причастным к революционному движению». Вот и все: «причастный». Ну да, ему поручали кое-что делать, он вел кружок в Сормове, раздавал книги, печатал прокламации, а если спросить по-честному, так кем он ощущал себя, например, в присутствии Чачиной? Гимназистом! Будущим человеком, за которого отвечают другие — взрослые, настоящие деятели-подпольщики. А оказывается... Только об этом нельзя никому говорить. Даже думать о таких вещах не полагается, нехо-

рошо. Но знать? Знать нужно. Потому что тогда... тогда все-все должно быть по-другому.

Безусловно, он был мальчишкой. На первом месте своя персона: «Я сумею! Меня не захватят! Я удеру!» Как он этого не видел? Если разобраться в истории с похоронами Рюрикова, так что? Что больше всего беспокоило? Как бы другие незнакомые или, еще того ужаснее, знакомые люди не сказали, что Свердлов — обыкновеннейший трус. Говорил на всех перекрестках: «Я не могу молчать», а на кладбище не пришел, испугался.

А Чачина, Пискунов не побоялись отказаться. И, естественно, потому, что для них прежде всего — комитет. И делают они не то, что хочется, а чего требуют интересы революционной работы. Вот критерий: интересы дела, то есть революции, и никакие не «я». В этом корень.

...Выйдя на четырнадцатый день из-под ареста, Свердлов подумал: вот и пришла зрелость. Но он ошибался: второй арест был лишь первой жизненной ступенькой — испытания на зрелость еще предстояли.

7. СОРМОВО

На первом свидании после отбытия четырнадцатидневного ареста Чачина, между прочим, сказала:

— Знаешь, Яков Михайлович...

Свердлов помешал ей договорить. Встреча с первой минуты получилась задушевной, а это непривычное для Чачиной обращение и, что было еще неожиданнее, мягкий, доверительный тон толкнули Свердлова вперед с протянутой рукой.

Чачина стремительно пожала ее и, улыбаясь, отчетливо произнесла:

— Да,— и еще подтвердила кивком головы что-то, чему не нашлось слова.

Было это как предисловие к простому неофициальному и, может быть, поэтому особенному разговору.

Где-то в солидной тишине министерских покоев люди в изукрашенных золотом мундирах думали, что жизнь вошла снова в привычное, спокойное русло: аресты участников первомайских демонстраций, надо полагать, обезглавили рабочее движение, а массовые отправки в места не

столь отдаленные — вполне убедительное средство, чтобы народ перестал слушать разных смутьянов. К тому же, если здраво мыслить, кто эти так называемые «русские социалисты»? Кухаркины дети, кучка лохматых студентов и стриженых курсисток. В сущности, даже смешно: обязательно одни стрижены, другие лохматы. Нет-с, милостивые государи, революция в Российской империи че-пу-ха! А беспорядки — что ж? Беспорядки — явление, так сказать, нормальное. В большом хозяйстве не без этого. Нужно только не выпускать вожжи из рук, своевременно принимать меры и не разводить турусы на колесах, а пресекать.

Пре-се-кать! Таков был вывод из размышлений в высших сферах Санкт-Петербурга, что и было подтверждено в разосланных на места циркулярах.

А Чачина говорила Свердлову:

— У нас кое-кто не верит, но я верю. Потому что чувствую, насколько рабочие сегодня не то, что вчера. В самом для нас главном: они теперь почувствовали и знают, что каждый не просто так себе токарь, или слесарь, или даже чернорабочий на случайной работе, а «пролетарий». В Марксовом понимании этого слова и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вы понимаете, о чем я говорю?

Они сидели в ее комнате за столом, на котором горела лампа под классическим в студенческом быту зеленым абажуром. На потолке вздрагивало круглое, как белое чайное блюдце, пятно, а двери и портрет Белинского на стене уходили в зеленоватый полусумрак.

Свердлов смешливо выглянул из-за лампы:

— Ау, я тут! — и рассмеялся. У него было чудесное настроение.— Да как можно не понять? Это же замечательно хорошо: рабочий осознал себя пролетарием. Просто, как лозунг! И знаете, что еще верно? Я по себе знаю: такие открытия вызывают желание действовать.

— Правда? Вот видите... А, между прочим, доказать тем, кто не понимает, или, вернее, делает вид, что не понимает,— тем доказать трудно. Почти невозможно. А все проще простого. Все равно как в мартовский день: выходишь на крыльцо, поймаешь какую-то струйку воздуха щекой...— Чачина усмехнулась: — Вот я и заразилась от вас романтикой, но, надеюсь, ненадолго... Так вот, словом, потянешь носом воздух и знаешь — весна. Настолько зна-

ешь, что начинает казаться, будто даже воробьи на тротуаре прыгают по-весеннему. А попробуйте сказать, что на дворе весна, и кое-кто непременно ответит: «Вообще, в принципе, так сказать, весна должна быть, и я за весну, но сегодня это фантазия, мечта, и ваши воробьи, если вздумают вести себя по-весеннему, перемерзнут все до единого». Что ужасно? Ничего нельзя привести в доказательство. Так, свои наблюдения, которые основаны на едва уловимых вещах, вроде дуновения ветерка. В общем, лирика. А навстречу вам суют факты: в таком-то кружке упала посещаемость; такой-то боится брать книги, потому что, говорит, сейчас не время: сосед в Сибирь по этапу пошел, а чего добился? Книжку прочел! Несерьезное это дело.

— Неправда! Не верьте, Ольга Ивановна. Знаете поговорку: «Горбатого могила исправит»? Пускай ваши «кое-кто»...

— С ними необходимо бороться, Свердлов.

— Это само собой! Но разве правы они, горбатые? Наша весна приближается, Ольга Ивановна. Вы знаете, я побывал в Сормове,— Свердлов остановился, как на разбеге, только на мгновение (пришла мысль: Чачина должна рассердиться, что он без разрешения ездил в Сормово чуть ли не прямо из-под ареста),— меня потянуло в Сормово, потому что там как-то увереннее себя чувствуешь. Вы очень правильно сказали насчет сознания — «пролетарий». И насчет весны, потому что ее там действительно ждут.

— Да-а,— протяжно произнесла Чачина, поднимаясь с места.

Она прошлась к двери и, возвратившись, постояла перед Свердловым.

— Хо-ро-шо.— Чачина вздохнула.— Однако оставим лирику. Есть серьезное дело, Яков Михайлович. Собственно говоря, больше чем «дело».

Чачина присела рядом. Оговариваясь, что комитет ничего еще не решил, что она сообщает свои мысли и, может быть, отчасти мнение некоторых товарищей, Чачина рассказала о подготовке к предстоящему II съезду партии, о необходимости расширять и укреплять влияние «Искры» в рабочих массах Сормова.

— И у меня есть к вам вопрос. Только не отвечайте сразу. Вы можете, если захотите, вести сормовский

кружок, это ваше личное дело, но главное для комитета сейчас — руководить, организовывать массы, чтобы не плестись в хвосте событий. Мы, конечно, все будем заниматься Сормовом, но кто-то должен стать там своим человеком, быть в курсе того, что происходит в самой гуще, знать настроения, тенденции. В общем, быть вроде как бы нашим посланником, что ли. Так вот: считаете ли вы себя готовым? Митю Павлова, как вам известно, арестовали и безусловно вышлют. Подождите, не отвечайте. Вы его не замените вполне — я честно говорю, что думаю, но в Сормове вам доверяют, я расспрашивала, о вас там хорошо говорят.

— Не знаю,— поспешно сказал Свердлов.

Он внимательно слушал Чачину вначале, но, когда она заговорила об агитации и родилось предчувствие — сейчас скажет: «В Сормове мы поручаем это вам», Свердлов перестал слышать. Слова звучали в ушах (он мог бы их повторить), но сильнее были мысли. Он видел закоулок у заводских ворот и выходящих группками рабочих, видил их лица, усталую развалистую походку, слышал их неспешный, отрывистый разговор.

И представил себя организатором. Себя на сходке в сормовском лесочке, когда нужно протянуть руку и в настороженной тишине сказать веское и горячее слово партии.

Свердлов произнес: «Не знаю» — и смутился. Слова выскочили сами, потому что собирался он сказать: «Нет, конечно, я не готов заменить Павлова», а подумалось: «Если будут помогать, если комитет...» Слова прозвучали не те и не так.

— Я... я действительно не знаю, Ольга Ивановна, потому что...

— Ясно,— перебила Чачина,— то есть в том смысле, что можно считать Сормово за вами.— Чачина улыбнулась.— Знаете, как любит повторять «Дед»: «Иногда важнее не то, что сказал человек, а как он это выговорил». Значит, мы условились. Только...

— Знаю. Можете не говорить. О конспирации? Я теперь понял.

— Всё ли?

— Всё, Ольга Ивановна, и крепко.

В тот вечер, позднее, Свердлов долго сидел на откосе над Волгой в одиночестве, не чувствуя его.

Кажется, год — это уйма времени. А в юности он — как неделя: и большой и маленький. Бесконечны летние дни, а за ними бабье лето и, по школьной привычке, особо деловитые дни осени с ворохом листьев, белыми от инея крышами на заре и первыми медленными снежинками; а там еще долгая-предолгая зима: планы большой жизни, стопки прочитанных книг, принципиальные споры... И вдруг оказывается, что целый год позади, что за окном опять март. И это ничего, это даже хорошо — близок самый значительный день года — Первое мая.

Одним движением Свердлов соскакивает с кровати. Сегодня в Сормово. Он потирает руки и, разведя их, с налета кулаками взбивает подушку с двух сторон разом.

Проделав несколько гимнастических упражнений, Свердлов прислушивается: за стеной тихо — должно быть, поздно и все разошлись по своим делам.

В Сормове ждут к вечеру, и побыть одному в квартире замечательно — никто не помешает занятиям.

Свердлов направляется к окну: нужно уметь определять время дня без часов — когда-нибудь это пригодится.

Окно смотрит на соседний двор. Сквозь переплет голых ветвей большого осокоря видны: задний угол деревянного двухэтажного дома, пустынное крыльцо с железным заснеженным козырьком и двумя каменными ступенями, вправо вьется промятая в снегу дорожка к сараям; там одна кособокая дощатая дверца распахнута, и около — щепки, шалашик свеженаколотых поленьев, прислонен колун. Двор и крыши еще отдают хмурой синевой, но воздух и завихренный край застывшего в небе облака подсвечены солнцем.

Часов девять утра. Тихо. Видимо, легкий морозец.

Свердлов идет в столовую проверить, угадал ли он время. На больших стенных часах с медным литым кругом на конце маятника и двумя тоже медными, начищенными до сияния цилиндриками на черных цепочках двадцать минут десятого. Почти угадал! При сегодняшнем хорошем настроении и такая малюсенькая удача радует. Свердлов подхватывает со стола потухший самовар и несет его на кухню. Там недолгое препирательство с кухаркой.

— Зачем вы сами-то, Яков Михайлович? Сказали бы.

— А я, должно быть, не принц, Марья Ивановна, ужасно люблю ставить самовары.

На кухне чисто, приятно пахнет вареным мясом, под-

жаренным луком и уютно от россыпи мигающих углей в зеве русской печи. Кухарке за сорок, но на вид ей меньше — в движениях спокойная уверенность крепкого, здорового человека. Она давно у Свердловых, и, по установившейся семейной традиции, ее легко и просто все называют Марьей Ивановной. Для нее же теперь лишь Сара как была со дня рождения, так и осталась Сарочкой, а самый любимый из семьи, Яков, долго бывший Яшенькой и Яшей, три года назад незаметно превратился в Якова Михайловича. Незаметно потому, что и новое обращение зазвучало, будто Марья Ивановна говорила «Яшенька».

В споре, кому заняться самоваром, никто не побеждает: Марья Ивановна первой захватывает железный, выгнутый желебком совок и ссыпает горстку горячих углей, Свердлов крепко, двумя руками, держит самоварную трубу.

— Небось сейчас со двора и завьетесь? Если до вечера, так чего покушали бы.

— Всенепременнейше, Марья Ивановна! Завьюсь. Возможно... до завтра.

— Ну вот, а молчите! У меня что есть? Может, суп заправить? А не то вон вчерашних щей подогреть да каши.

— Никаких супов. Щи... Сколько там? Одна тарелка? Это вам.

— Да Яков Михайлович!..

— Исключаются щи, а каша... Гм!.. Гречневая...

— Я мигом поджарю. Только, Яков Михайлович, голубчик, я и щи подогрею, а? Честное слово, не хочу я их сегодня.

— Нет, щи безусловно отменяются. Зато каши — три ложки верхом. И поджарить на сковородке! Военный приказ, коий — Марья Ивановна, заметьте себе: «коий»,— обсуждать не дозволено.

...После чая Свердлов трудится над физикой по программе на аттестат зрелости. Затем конспектирует в толстую клеенчатую тетрадь главу о Боярской думе из литографированного университетского курса лекций профессора Ключевского. По наукам гуманитарным Свердлов мог бы экзаменоваться хоть сейчас, но с математикой, физикой отстал. Придется приналечь. Впрочем, это потом, а сегодняшние дела сделаны — можно идти в Сормово.

На дворе в воздухе, в льдистой корке на водосточной трубе, в длиннющей скользкой сосульке, повисшей с угла мастерской над забором, играла весна. Можно бы, если

бы не восемнадцать лет, наподдать по сосульке, например, метлой, найти самый кончик, влажный и твердый,— и в рот. Сосульку нельзя, а пройти на откос, охватить весеннее блистание снегов до горизонта, поискать в белых пухлых изгибах уходящую на Казань Волгу, одновременно увидеть голубой разлив неба так хочется, что нечего и раздумывать.

Свердлов взглядывает по улице вправо, влево. Никого подозрительного. Все-таки лучше дать крюк по переулкам.

Он идет, резко поворачивая на углах. Один поворот, другой... Теперь можно шагать медленнее.

В переулках еще таится зима: по проезжей части, как на проселке, отпечатан узкий санный путь с неожиданным раскатом после ухаба; на крышах, будто в лесной стороне, затейливо и набекрень нахлобучены снеговые шапки; от сугробов, от промерзших заборов веет студеным ветерком. Но это ненадолго: с последнего угла — солнечной поляной площадь.

Постояв, Свердлов не спеша обходит площадь. Ему хорошо и вольно дышится. А мысли случайны — идет вдоль кремля, скользит взглядом по каменной стене, по обводам Георгиевской башни и думает: чего-чего не видели эти камни! Внезапно мысль оживляется: Мининская площадь! Взгляд находит железные ворота в глубоком, как вход в подземелье, каменном своде, и уже видится, как на площади колышется несметная толпа, поблескивают над головами светлые ромбики копий, а головы все до одной повернуты сюда, к распахнутым воротам, и первым в них появляется острие древка с тяжелым лоскутом знамени; за ним в глубине свода, как в омуте, рыбьей чешуей мерцают кольчуги, шлемы, пики; выходит Минин и, подняв голову, окидывает праздничным взглядом толпу. Вероятно, гудят колокола. Какая это силища — любовь и ненависть народа! Только терпелив чересчур русский человек. Но когда-нибудь — и вовсе не когда-нибудь, а скоро! — нахлынут на городские площади колонны тоже простых людей и полетят теперешние лжедимитрии всех рангов вверх тормашками. Ничто их не спасет — русский рабочий класс вышел на арену истории!

Свердлов с торжеством посмотрел на башню. Улыбнулся, покачав головой: пышно получилось — «арена истории». Но по существу-то ведь верно. День близок, заря разгорается.

Сколько раз об этом шумели на той скамейке перед оврагом! Да и не только об этом. Разве мало в тринадцать-четырнадцать лет было залпом прочитанных книг о любви, о целях в жизни, о поступках, требующих немедленной оценки и немедленных решений, чтобы жить дальше правильно.

Вообще площадь входила не только в историю города и России — без нее немыслима жизнь нижегородца. Пусть часы и встречи над Волгой бывали случайны и не определили личной судьбы, пусть вспомнятся иной раз смешные подробности,— все равно нет-нет да и всплывет когда-нибудь в памяти кусок площади, вечерняя Волга, девичий силуэт над обрывом и осветится целый период жизни. Вспомнится вдруг все: люди, отношения, мысли, то, что было, и то, что могло быть, но почему-то не случилось.

Около розового особнячка, изукрашенного поверху над окнами, как торт кремом, лепной канителью, Свердлов замедлил шаг. Совсем недавно здесь переживались волнения первого свидания. глупо ранний приход, беспокойство, как бы кто не подсмотрел, и мучительное отсутствие первых слов. Смешно, что это почему-то именно так всегда бывает, и хорошо... что было!

А возле этого крыльца с дубовой высокой дверью было не смешно. Хотя... В тот день знакомый студент первый раз в жизни вручил несколько листовок. Было условлено, что Свердлов разбросает их в районе пристаней утром. Но, придя домой, Свердлов не вытерпел. С двумя листовками в карманах гимназической шинели он промчался Покровкой — для практики, как он себя убедил. Моросил дождь, дома и прохожие — все будто в незнакомом таинственном городе. Только на площади он успокоился: оказалось, ничего страшного, все обыкновенно. Но если разбрасывать листовки означает незаметно ронять бумажку там, где ее может после подобрать прохожий, то как поступить в дождь? Явная же чепуха, что нельзя распространять листовки в плохую погоду. Положить на сухом месте под скамейку? Или под деревом... А ветер? И вот тогда, когда он озирался, высматривая поблизости камень, пришла показавшаяся блестящей мысль,— он засунул листовку под медную дощечку «Присяжный поверенный Скородумов» на этой внушительной двери, на этом крыльце. И убежал, потому что кто-то шел по тротуару. И затем пришлось возвращаться, чтобы посмотреть, взял или нет. Листовки

не было! Он обрадовался и побежал в ту сторону, куда шел прохожий. Кто он? Вдруг шпик? Первым, кого Свердлов догнал, была женщина. Значит, «тот» ушел. Не шпик — иначе вернулся бы. И заинтересовался — иначе бросил бы. Ура! Смешно? Нет. Потому что позже, когда Свердлов уже давал поручения другим, он рассказывал эту простую историйку, и она действовала сильнее, крепче инструкции, потому что была жизнью.

Уходя с площади, Свердлов по привычке оглянулся. Воспоминания исчезли,— в двадцати шагах отметился подозрительный прохожий. С виду он был обыкновенный: в черном драповом пальто с потертым бархатным воротником и в такой же знавшей лучшие времена серой касторовой шляпе — типичный представитель той городской прослойки, чья профессия удобно именуется «частный ходатай по делам».

Прохожий обликом не напоминал шпика, но обеспокоил Свердлова чем-то смутным и неприятным: поймалась мгновенная напряженность движений, испуганный и фальшиво вильнувший в сторону взгляд.

Свердлов замедлил шаг и начал невольно прикидывать, где поблизости можно избавиться от прохожего, если он вдруг окажется непрошеным спутником. Необходимо проверить возникшее подозрение, и проверить так, чтобы, если это все-таки новый охранник, запомнить его обличье, установить хотя бы одну примету.

Свердлов пошел еще медленнее. Прохожий не перегонял. Около окна мелочной лавки Свердлов приостановился: прохожий стоял и любовался резной дубовой дверью присяжного поверенного Скородумова. Может быть, мечтает о такой же медной дощечке?

Свердлов, не оглядываясь, пошел дальше, постепенно ускоряя шаг; на углу круто свернул и, подавшись к стене дома, стал на одно колено — занялся шнуровкой ботинка. Прохожий вылетел, срезая угол, и запнулся от неожиданности. Взгляды их на мгновение встретились. Свердлов словно сфотографировал моментально: потрепанное лицо, обрамленное светлой бородкой, мешки под глазами, шляпа, коричневые в белую полоску штаны.

Прохожий сделал несколько шагов, подняв голову, будто вглядывался в окна второго этажа, потом пожал плечами и суетливо перешел на другую сторону переулка. Там остановился у ворот, изучая фамилию домовладельца,

полез в боковой карман и вынул записную книжечку, словно решил сверить адрес.

Обстановка почти определялась. Свердлов поднялся и пошел по своей стороне дальше. У третьих ворот, не раздумывая, вошел в калитку и быстро прихлопнул ее. Звякнула щеколда. Он поморщился. Быстро оглядев дворик с крыльцом у двухэтажного деревянного дома справа, с зеленым дощатым забором слева и линией сарайчиков в глубине, Свердлов схватился за брус, запиравший, как засов, створки ворот, и надвинул его конец на щель, прихватив край калитки. Крадучись, отошел поглубже к крыльцу. Гулко колотилось сердце.

В просвете под калиткой возникли ноги в коричневых с белыми полосками штанах и остроносых черных полусапожках с ушками; медленно и бесшумно, как шлагбаум, поднялась щеколда; ноги переступили ближе, щеколда опустилась и тотчас вновь, уже шумно и резко, вздернулась.

Теперь все ясно. Свердлов опять поморщился и вздохнул. Послышался нетерпеливый стук кулаком в калитку. Пора исчезать, пока не появился дворник или кто-нибудь из жильцов.

Свердлов забежал за дальний угол сараев, втиснулся через знакомую щель в сад соседнего дома, где проживал товарищ по гимназии, с которым он когда-то прятал в саду под акациями опасные книжки, а позже встречался по подпольным делам, и прошел, не задерживаясь, на параллельную улицу. Можно было бы заглянуть к товарищу, переждать, но Свердлов решил, что проще уйти подальше, пока прохожий будет объясняться с дворником. Тем более, что и время двигаться на Сормово подошло.

В Сормове Свердлова ожидали двое: Веденяпин и Степан Пономарев. Особенно ждал Степан.

С ним, как он определил, запнувшись в разговоре с Веденяпиным, приключилась нескладная история.

Степан рассердился на запинку, на то, что слова прозвучали не к месту легкомысленно, и теперь слишком безразличным тоном на одной ноте договорил:

— Утром забегал один мой парень; у них в литейном ребята не в себе, волнуются. Требуется решение! — Он несколько возвысил голос и тут же, чтобы не поддаться чув-

ствам, спросил как бы невзначай: — Яков Михайлович будет?

Веденяпин не спеша переместил очки в железной оправе на лоб, посмотрел на Степана, насупив реденькие брови и поджав губы. Степану показалось, будто и бородка Трофимыча осуждающе встопорщилась. Но Веденяпин не осуждал. Взгляд его был внимательным, как у человека, которого заинтересовала вдруг личность рассказчика.

— Я спрашиваю, Свердлов-то обязательно будет? — подождав, повторил Степан мягче, но пряча глаза.

— Ты вот что: выкладывай-ка без туманов, а придет кто или не придет, это дело десятое. Да, выкладывай брат, сначала фактически. Переживать потом будем.

— А я вовсе ничего. Тут придется решать, Иван Трофимович...

— Что надо, то и решим. А ты рассказывай, как полагается, рассказывай, будто я ничего не знаю, сегодня родился. Понял?

Степан дернул плечом, открыл рот, но промолчал. Он окинул взглядом давно известную ему комнатку с низким потолком, оклеенным белой, когда-то глянцевитой бумагой, и темными, словно прокрашенными коричневой краской бревенчатыми стенами, с железной кроватью под лоскутным одеялом, с оконцем на огород. Посмотрел на самодельный, хорошо отполированный стол, такую же этажерку, черный стул с гнутой спинкой у стены, на аккуратно прибранный небольшой верстак с жестяными банками и бутылками, тихо пахнущими лаком и красками, и успокоился: вокруг было простое, знакомое, прочное.

Оживший взгляд перекинулся на хозяина, и Степан улыбнулся:

— Вы же все знаете. Скажете, в модельной не слыхали, что на формовке происходит? Чудно было б! Кто поверит, что не слышали!

Веденяпин прищурился, словно прицеливаясь, и медленно сказал:

— Оказывается, характер у тебя для самого себя дрянь, вот что. Ты погоди, слушай. Случай вроде для душевного разговора подходит. И не обижайся. Ты меня знаешь, а я тебя и вовсе... Горячий ты — раз. И то, по-моему, не беда, а хорошо; потому хорошо, что дело наше — оно, если его по-серьезному делать, искру постоянную в человеке требует. Второе — упорство; если кудрявее сказать —

стойкость души, приверженной своей идее жизни. Чуешь? В этом месте у тебя осечка. Упрямство в тебе, а не упорство. В народе говорят: нравный. Вот ты и есть нравный: своя персона из-за идеи наружу выпрет в рост, ты и взбрыкнешь, а назад «я» ходу не дает. Понял, к чему говорю? — Он посмотрел на окаменевшее лицо Степана, в его вспыхнувшие глаза и самому себе сказал: «Верно, что с другого конца надо».

Степан встал. Веденяпин постучал кулаком по столу:

— Ладно, повременим с этим. Не готов ты для мужского разговора. Садись. И рассказывай факты. А что я знаю, это мое дело. Мало ли что мне сорока на хвосте принесла. Ты по-своему рассказывай.

Степан поглядел на скрученную в руках кепку, раза два хлопнул ею о верстак, будто расправлял вмятины, вздохнул и уставился невидящим взглядом в оконце.

Ему тотчас представилась «история». Она уже не личное дело.

Степан резко повернулся, положил кепку на стол, придвинул стул, плотно уселся. О фактах он обязан сказать, а там видно будет.

Внешнюю сторону «истории» описывать было просто. Степан не один разбрасывал прокламации. По заводу и в литейном цехе ему помогал Сергей Кулов — шустрый молодой рабочий, которому Степан и выдал в среду листовки. В четверг Кулов забрался в цех пораньше, благополучно рассовал по рабочим местам несколько штук в обрубке, перешел на формовку, сунул предпоследний экземпляр в готовую опоку. Он собирался пристроить оставшуюся листовку где-нибудь повиднее, оглянулся и увидел вошедшего в пролет рабочего Федяшина. От неожиданности Кулов растерялся, похолодел, но тут же сообразил, что ничего особенно страшного нет: Федяшин хоть не «свой» — старший рабочий, да не мастер. Правда, тихий, редко когда выскажется против порядков, но к тому есть причины: болезненный, а семья...

— Всех шестеро их,— печально пояснил Степан,— четверо ребят,— и показал рукой лесенку от пола по воображаемым ступенькам чуть повыше стола.— А жена с полгода, больше лежит, безнадежная.

— Знаю,— поспешно, но отчетливо сказал Веденяпин.

— Вот...— Степан взял кепку и переложил ее подальше. Приближалась вторая, трудная для спокойного пере-

сказа половина истории, и он вздохнул.— Серега, значит, подумал, подумал и дал в руки Федяшину листовку. Сказал: «Почитаешь аккуратно — другим передай». Руки в брюки и пошел из цеха, чтобы потом, после мастеров, обратно зайти, вроде только явился.

— Ты погоди объяснять-то.

— Нельзя, не могу я. Тут все важное, Трофимыч. Одним словом, Кулов, я скажу, вполне правильно действовал. Я бы на его месте...

— ...листовку передал из рук в руки?

— А что? По-моему...

— Персона! «По-моему»! Про таких Яков Михайлович говорит: «голова с затылком», вот что!

— Скажете — Кулов неправильно сделал?

— «Кулов, Кулов»! Давай-ка помолчи, успокойся! С Куловым, может, и правильно, а сейчас зашла речь о Пономареве Степане. Хоть на боковую дорожку выскочили, а ничего, пригодится. Для будущего. То, что сейчас поймешь, навек, брат, запомни. Ладно? Я тебе для наглядности как бы вопросы задам, но ты на них про себя отвечай. Во-первых, почему это Пономареву организация дозволила помощников на распространение взять? Пожалели — цехов много, устанет? Не поспеет? Времени много уйдет? Это тебе первый пучок. Теперь серия вторая: кто, кроме Степана, у нас Катю знает да часто с ней встречается?

— Это... Про Катю про Одинцову сюда не относится! — Степан понял, что себя выдал. Его ударило в краску. Он с досады крякнул: — Эх!..

— «Эх?» — Веденяпин как-то словно исподтишка глянул и улыбнулся светлой улыбкой.— Ловко! Ну, это особь статья, а я не про то. Больше про адрес. Говорю: чего бы лучше ребятам листовки не у тебя получать, а на месте! Как вон «Нижегородский листок» мальчишки-газетчики с типографского двора мигом во все концы города растащат, видел? Скорее ничего не придумаешь. А мы почему-то не допускаем. Объяснять, нет? То-то, что ясно. Об организации, брат, надо практически соображать, тогда на малом большой вывод прояснится. Ты вот готов незнакомому человеку прокламацию в руки сунуть, а от тебя до нашей типографии прямой путь короче воробьиного носа, понял? Не так ты о себе думаешь, как полагается, вот что!

Обычно Степан не умел спокойно выслушивать замечания. Обиженный, он отворачивался и умолкал. Либо упрекал, не называя имен, вообще всех, в осторожности, медлительности, чуть ли не в боязни действовать. Сейчас не годилось ни то, ни другое — он очень уважал Трофимыча. И думал он не о ненужности для себя предупреждений на будущее — его беспокоило, что Веденяпин дважды сегодня заговаривал о «персоне». Однако и на эти размышления не было времени. Нужно досказывать, ради этого пришел.

Одушевляясь по мере развертывания событий, Степан сообщил, что, как оказалось, в цехе, кроме Кулова и Федяшина, был в то время один из мастеров — Гвоздев. Он выскочил из конторки, когда Кулов выходил из цеха. Федяшин не успел спрятать листовку, растерялся, выронил из рук. На вопрос: «Откуда взял?» — ответил, что бумажка валялась и он просто поднял. Мастер закричал: «Врешь!» — и ухватил за плечо, затряс. Федяшин едва вырвался. Позже мастер изменил тактику наедине, в сторонке, он уговаривал Федяшина признаться. Говорил, что знает, кто дал, видел. А спросил единственно для интереса. «Если назовешь кто, значит, сам ни при чем, буду знать, что ты русский человек и всякие смутьяны тебе враги». А Федяшин потоптался и говорит: «Ничего не знаю, никого не видел». Степан сделал паузу и так посмотрел на Веденяпина, будто вызывал подтвердить вслух: «Каков Федяшин-то!»

Но Веденяпин спокойно кивнул головой, не то соглашаясь, что все хорошо, не то подтверждая, что слушает и можно продолжать.

События в цехе дальше развернулись неожиданно: в пятницу Гвоздев записал Федяшину штраф в 75 копеек «за неисправную работу»; в субботу оштрафовал по графе «нарушение тишины» на рубль (что превышало полдневный заработок), а в понедельник вызвал Федяшина перед гудком в конторку, когда там никого больше не было, и после новых увещеваний пригрозил, что, хотя в инструкции мастерам перечислены еще двадцать три случая штрафов, он, Гвоздев, канителиться не будет — подождет два дня, а там...

— Он сказал,— Степан произнес это рывком и поднял кулак, словно собираясь, будь мастер перед ним, ударить его сбоку в висок,— он сказал, что пусть Федяшин

думает про семью, а в среду, если скажет «не знаю», пусть на себя пеняет: уволит Гвоздев его и сообщит куда следует. За другого, говорит, в Сибирь пойдешь, каторжником будешь.

Веденяпин резко поднялся и прошел к верстаку. Степан опустил кулаки, оглянулся. Веденяпин стоял спиной — была видна его вытянутая рука, ровняющая банки и бутылки на верстаке вдоль стены. Степан тихо досказал, как Гвоздев обещал снять штрафы и повысить заработок Федяшину, если тот одумается.

— Так,— твердо, будто поставил точку, сказал Веденяпин,— и устроился на прежнем месте у стола.

— Не все, Иван Трофимович.

— Знаю: ребята волнуются. Эт-то,— протянул Веденяпин,— понятно.

Наступило молчание. Степан долго не решался его прервать. Взглядывая на ставшее суровым лицо Веденяпина, на его по-стариковски набухшие и извилистые большие морщины через весь лоб, Степан никак не мог подыскать и выговорить те удобные и хорошие слова, которыми следовало бы сейчас не сообщать, а душевно рассказывать о сегодняшнем утре, когда прибежал к нему Серега Кулов. Он не умел говорить такие слова.

А Кулов прибегал, чтобы известить о важном разговоре Гвоздева с Федяшиным. Тут же Кулов объявил, что не может видеть Федяшина, который ходит по цеху как неживой, и потому решил открыться Гвоздеву: «Все равно. Пусть. У Федяшина ведь семья, а со мной ничего особенного не станется. Если и сошлют на год-два, я один, свое в жизни наверстаю. А иначе Федяшиным всем шестерым конец». Верно ведь: какие они жильцы без самого!

Степан надеялся, что, если точно передать Трофимычу, с каким лицом прилетел Кулов и как по-человечески чисты и вдохновенны были его глаза, не придется и объяснять, почему Степан ответил Сереге, что организация поднимет рабочих — пусть только Гвоздев уволит Федяшина! — и все цехи поддержат бастующих; а идти объясняться не к чему: уволят обоих, и всё. Степан даже запретил думать о таком шаге. Он объявил, что вопрос тут не личный, а политический и от хотения одного человека ничего не зависит.

Рассказать, как хотелось, Степану не удалось. Он было начал хорошо, но увидел через оконце идущего по огоро-

ду Свердлова и сбился. Скороговоркой сообщил о забастовке, поскольку это и было решение, которое не терпелось утвердить.

— Я же правильно — рабочие у нас теперь сила!

Веденяпин не ответил. Степан вздрогнул.

В дверь постучали, и на пороге появился Свердлов.

Свердлов вошел оживленный. Скинул и повесил на гвоздь у двери пальто и шапку. Пахнуло мартовским ветерком и талым снегом.

Он приветливо кивнул головой, пожимая руку Веденяпину, обернулся к поднявшемуся Степану и, внезапно улыбнувшись, так захватил и сжал его ладонь, что Степан пригнулся. Довольный, Свердлов рассмеялся:

— А ведь на самом деле я слабее.

— Так... врасплох же!

— А мне какое дело! Согнул? Все видели? Факт неоспоримый. А мораль сей басни такова: «Товарищ, никогда не давай себя застигнуть врасплох». Между прочим, замечательно полезное правило.

Он подхватил у стены одной рукой стул, водрузил его поближе к окну и повернулся:

— До чего хорошо сегодня в поле, товарищи! На дорогу больно глядеть — весна! «Весна идет, весна идет...» Дальше не помню. Впрочем, достаточно.— Он сел.— Один человек, чрезвычайно опытный в житейских делах, учил: «Если пришел слушать — заговори о погоде, потом умолкни». Вы меня, пожалуйста, Иван Трофимович, простите, что я так. Весна! Но слушать, честное слово, я буду серьезно.

Приход Свердлова, его настроение смягчили, осветили лица Веденяпина и Степана. Степан с откровенным любопытством следил за Свердловым.

— Все правильно, Яков Михайлович! — весело подтвердил Веденяпин.— Верно потому, что как перед работой разминка требуется, так все одно разговор от шутки крепчает да спорее идет. Верная тактика.

Степан промолчал. Почти бездумно переводил он взгляд с одного лица на другое. Лица были разные: одно молодое, по-весеннему ясное, другое морщинистое, усталое и, если бы не глаза и лучики в уголках, очень спокойное. Но было в них, может быть, главное, что сближало: как с хо-

ду определил Степан, «любопытные оба до жизни и понимают».

В этом он завидовал Веденяпину и Свердлову. Живет в их поступках одна сквозная идея — прощупать ее можно,— а у Степана вот случается: мысли вроде правильные (потому идея и цели, что у Свердлова с Веденяпиным, одинаковые), а поступки на поверку выходят не те. «Осечка»,— выразился Веденяпин. Вообще это верно, бывало, но в истории с Федяшиным нет. И он докажет.

Услыхав, как Свердлов нараспев произнес: «Начнем, пожалуй», Степан обеими руками одернул рубаху вдоль пояска назад, пошире раздвинул колени, оперся на них ладонями. Веденяпин взглянет на него, и наступит его черед. Из всех сормовских дел первый вопрос, конечно, о забастовке. Он главный. Степан осторожно откашлялся.

Веденяпин не посмотрел на Степана. Он ответил Свердлову: «Можно» — и поднялся. На ходу опустил очки на переносицу. Подойдя к верстаку, Веденяпин полез под него, изогнулся и откуда-то сверху, над головой, из щели достал клеенчатую записную книжечку.

Крякнув, вылез, осторожно передохнул и прошел к своему месту.

— Тут разное для себя пишу. По-своему. Но листик мы вырвем, после изничтожим.— И Веденяпин заговорил о том, что делается на заводе к Первому мая.

Он обстоятельно докладывал о настроениях в цехах, кто и как ведет работу, что предполагается новое против прошлого года, что хорошо или пока плохо и почему.

Степан было обиделся. Получалось, что вопрос о забастовке мелочь. Потом незаметно для себя заслушался: явственно раскрывалась сложная жизнь завода — тысяч людей у печей, машин и станков, в поселке, с их интересами и заботами. Среди тысяч сновали десятки: думали, спорили, действовали, ежеминутно рискуя своим простым человеческим благополучием ради большого, но еще далекого и, может быть, не совсем ясного для многих дня — дня Революции.

Степана охватило беспокойное желание поскорее действовать. Он поднялся и стал прохаживаться вдоль стенки, по-прежнему прислушиваясь к тому, о чем согласно и наскоро, видно хорошо понимая друг друга, говорят Веденяпин и Свердлов.

Веденяпин сообщил о предполагаемой в конце недели

сходке цеховых представителей в деревне Починки и необходимости на всякий случай организовать охрану, то есть выставить рабочие патрули. Он предлагал не объявлять заранее место сходки, а направлять участников через патрули (спрашивая особый пароль) по скрытым лесным тропинкам.

Первое мая становилось как бы завтрашним днем!

Свердлов порылся в карманах и достал небольшую карту Нижегородского уезда, вырезанную из старого земского справочника. Он был по-мальчишески горд своим приобретением.

Веденяпин отмахнулся:

— В чем не мастак, так уж нет, увольте, Яков Михайлович. А знать район знаю, как свой переулок. Починковский лес по такому же делу о прошлом годе насквозь исходил.

Свердлов смутился:

— Я для себя. И знаете? Может быть, не сейчас, но для будущего нужно уметь разбираться в картах и особенно в планах городов. Например, я думаю иногда о революции: что это такое? Ведь самая настоящая война, с наступлениями и обороной. Мы с вами говорили как-то о восстании Спартака. Обязательно нужно будет знать, где засели враги, что захватить в первую голову. Заранее знать. Распределить всем отрядам задачи, чтобы каждый запомнил, что делать, чтобы ничего не пропустить. Нужно сразу стать хозяевами положения. Это же половина победы. Даже больше.

— А я и не спорю. Спорить не буду. Только как бы сказать... одно дело вон табуретку сколотить — ее без эскизу собьешь, а дом двухэтажный без чертежей сто мастеров не сообразят.

— Табуретка? — засмеялся Свердлов.— Ладно. Между прочим, я в жизни не сделал ни одной табуретки. Придется попробовать как-нибудь. А завтра,— он похлопал по карте,— мне лучше все-таки здесь побывать.

— Верно, Яков Михайлович! Дадим провожатого.

— Провожатого! Великолепно! Об этом утром договоримся, а сейчас подумаем, не забыли ли что важное.

— Есть. Есть у нас одно дело. Как говорит Степан, «история»,— без улыбки сказал Веденяпин и мельком взглянул на Степана.— Ну что ж, давай действуй.

— История не история, а... дело серьезное,— твердо

выговорил Степан.— Решать нужно. Я сейчас объясню все по порядку. Только вы, Иван Трофимович, вы меня не перебивайте, дайте досказать, а тогда уж...

Веденяпин молча посмотрел на него, хмыкнул и отвернулся.

Степан начал рассказывать сдержанно. Скупее, чем в первый раз. Его связывало в чем-то новое поведение Веденяпина, который устроился неподвижно, глядя в одну точку за окном. Было непонятно, слушает ли он особенно внимательно или, наоборот, не слушает, а обдумывает свое.

Свердлов сидел тоже почти спокойно, но Степан ловил на себе его быстрые взгляды, после чего Свердлов смотрел вверх или в сторону, а кисть его правой руки, лежавшей на столе ладонью книзу, внезапно поднималась и медленно падала, словно отсчитывала какие-то этапы в размышлениях. Это воодушевляло Степана, и он заговорил пространнее, горячее.

Кончил он, как и в первый раз, тем, что забастовка — единственное решение, которое требуется. И что он, со своей стороны, как бы дал слово — велел Кулову обнадежить Федяшина и всех.

— Издевательство же, товарищи! Невозможно больше терпеть произвол мастеров. Гвоздев как кость в горле торчит. И вообще со штрафами надо кончать.

— Все? — строго выкрикнул Веденяпин и поперхнулся.

Его начал бить кашель. Он пересел на кровать, согнулся и, стараясь удержать кашель, осторожно, мелко вздыхал. На лбу выступили капельки пота, и он смахивал их тыльной стороной руки.

Свердлов крупными шагами заходил по комнате. Степан поднялся, но остался стоять позади стула, обхватив руками его круглую гнутую спинку.

— Ничего.— Веденяпин прошел, не разгибаясь, к столу, высыпал из бумажного конвертика порошок на язык и запил глотком остывшего крепкого чая. Распрямившись, он оглянулся и прошел к своему месту.— Обсудим,— сказал он и замолк.

Степан, не присаживаясь, по-прежнему держась за спинку стула, переводил сумрачный взгляд с Веденяпина на Свердлова и обратно.

Свердлов постоял, закинув руки назад, и медленно прошелся к двери.

— Вот что, по-моему: дело трудное. То есть случай, ясно, вопиющий, здесь не может быть двух мнений. И поднять народ на забастовку, вероятно, можно. Но...— сказал это чуть громче и быстро перебил себя: — Ну да, я бы тоже предложил забастовку. если бы не Первое мая. Вы понимаете? Повсюду в России и за границей выступления рабочих. День международного единства рабочего класса, и вдруг в Сормове...

— Так под одно же выйдет!..

Свердлов искоса посмотрел на Степана, и тот махнул рукой.

— Решать должен комитет,— сказал Свердлов.— Без комитета проводить забастовку в Сормове — и вообще где угодно — нельзя. Это ясно. Я объясню там все, что вы рассказали.

— А сами как? — подождав, строго спросил Степан.

— Сейчас. Скажу прямо: комитет не согласится, потому что... Неважно почему. И я не буду спорить. Потому что верно же, Степан, ты подумай! Мы ведем подготовительную работу перед первомайским праздником рабочего класса. Мы поднимаем народ под лозунгами «Да здравствует международная солидарность трудящихся!», «Долой самодержавие!», требуем свободы. восьмичасового рабочего дня — и вдруг... Ну, ты понимаешь: нельзя мешать общеполитические, понятные для каждого требования с местными. Кто знает, кроме литейщиков, Гвоздева? Почему про других мастеров нет?

— Я понимаю,— тихо сказал Степан.— Но у Федяшина семья. Рабочий он или нет? Над своим рабочим издеваются, а мы...— Степан шумно двинул стул в сторону.

Свердлов закусил нижнюю губу. Посмотрел на Веденяпина.

— Давайте-ка, товарищи, я! — громче обычного сказал Веденяпин.— Он встал, обдернул рубаху.— Я по-рабочему. Верно, дело тяжелое, да терять голову не приходится. Вот ты говорил, Степан,— забастовка. А не нам втроем бастовать-то. И что высказал Яков Михайлович, все правильно. Политическая демонстрация! Всеобщая. В Петербурге выйдут, в Москве, в Париже. И в Туле, в Ярославле, в Костроме, так? И в Сормове Первое мая на носу, и размахивается наш сормовский рабочий также на большой замах: «Долой самодержавие!» Подойдет тут, скажем к примеру, рукавички кузнецам затребовать или вентилятор

в прокатке наладить, ай нет? Ты погоди, я не на смех, а для простоты, понял?

— О человеке речь идет, что вы с рукавицей равняете!

— Ладно, потом поймешь, как остынешь. Забастовка... А ты хоть одну забастовку проводил? Это тебе не костер на рыбалке: не разжег или потух — ничего, как-нибудь обойдемся. Тут провалишься — гайку так закрутят, что небо с овчинку станет. Раз. Веру в организацию подорвешь, если проиграть забастовку,— два. Бастовать нужно, брат, наверняка, без промаху. А знаешь ты, как сейчас с заказами? Знаешь, что заминка с большими заказами? Нет. А я узнавал, и выходит, что сейчас забастовкой нашу администрацию не испугаешь. Они могут крепко себя повести, потому неустойки платить не надо, а мелким заказчикам они потом наверстают, когда нас голодом прижмут и надвое расколют. И еще имей в виду, что по твоему обстоятельству весь завод нам не поднять. Потому нет явного факта, за что увольняют. Поди-ка разъясни, что Федяшин за прокламацию страдает. А может, он плохо работал? Гвоздев, он хитрый — со штрафов начал. Ты знаешь, я знаю, еще кто другой поверит, а двенадцать тысяч?

Свердлов слушал Веденяпина, не сводя с его лица горящих внимательных глаз. Он много думал о забастовках, знал, что забастовка — один из методов борьбы не только с предпринимателем, но и верный способ политической борьбы, что забастовку нужно организовывать, что ею следует руководить, создавать стачечный комитет, образовать стачечный фонд... то есть знал книжно, по-студенчески, а этого оказалось мало, и он, Свердлов, обязан научиться видеть жизнь, как видит ее Веденяпин.

— Так,— медленно, сдерживая себя, произнес Степан в наступившей тишине.— Может, я неправ, чего не понимаю, а против себя тоже не пойдешь. Может, забастовка не получится, может, она с разрешенья происходит, когда на весах вывесят, не знаю. Ладно. Вы, Яков Михайлович, комитету не докладывайте — нечего зря воду мутить, а я... Мне отступать от своего, раз не согласен, совесть не позволяет. Остается, значит, одно. Ладно.— Степан потянулся за кепкой.— Я лучше пока пойду.

— Стой! — Веденяпин вскочил.— Анархизм не разводи! Говори, что надумал!

— Да вы не бойтесь, один забастовку не объявлю —

организацию я тоже не меньше вашего уважаю. А что решил? К Гвоздеву я схожу, вот что. Федяшин не виноват, Кулов растеряется, еще что-нибудь скажет, а из меня лишнего не выудят, не таковский.

— Дурак! — спокойно сказал Веденяпин и сел на место.

Он понял, что Степан несет первое попавшееся на язык, что он еще нетвердо знает, как поступит.

— Это же чепуха, форменная чепуха! — сказал Свердлов.

— А он знает,— подтвердил Веденяпин, повертываясь к Свердлову,— ему Кулов тоже предложил повиниться, и он его отчитал как полагается. А тут... Ты вот что...— Веденяпин живо повернулся к Степану.— От имени организации говорю: нигде, никому ты не имеешь права говорить, что имеешь хоть какое-то отношение к прокламациям. Понял? Раз и навсегда.

— Знаю. А не могу я, Иван Трофимович, не могу! Как Федяшина вспомню — не могу.

— Тебе сколько лет, дуб ты стоеросовый! Что у тебя получается? Ты сядь. Разбрасываем мы листовки, люди их поднимают, читают; полиция за это хватает и по головке ведь не погладит, кого арестовала, а нам тут же к приставу бежать набиваться, что, дескать, нас забирайте, потому человек по глупости поднял, не знал, что творит? Эх ты, Иисус Христос!

Веденяпин помолчал, глядя на опустившего голову Степана.

— Ладно, будем считать, что ясно. Хватит с этим. А насчет Федяшина так предлагаю: подождем. Во-первых, может, Гвоздев с Федяшиным на словах тигр, а как дело подойдет — он хвост-то подожмет. Бывает. Он знает, помнит, как мастеров на тачках вывозили, а то и без организации, попросту втемную расправлялись, или кирпичом в окно, или еще чем.

— Это вы, знаете... как бы сказать... насчет кирпичей не совсем, по-моему.

— К слову, Яков Михайлович.

— Да нет, знаете...

— И я нет. Так вспомнилось.

— Иван Трофимович! Зачем же мы про забастовку,— сказал Степан.

— Ты же начал! И, между прочим, скажу к слову, что

если на формовке о забастовке слушок есть.— Веденяпин посмотрел по очереди на Свердлова, на Степана и улыбнулся,— то не повредит, пожалуй, а? Теперь, если второй исход с мастером получится, тогда мое предложение будет: Федяшину на первое время из своих средств соберем, одним словом, поможем, а после на место устроим. В потребиловку. Поскольку там в правлении у нас — это я, конечно, по секрету говорю — кое-кто из своих людей имеется. Так?

...Разговор этот ярко запомнился Свердлову. На следующий день, возвращаясь в Нижний, он перебирал в памяти подробности, обдумывал. И его радовало, что живет он сормовской жизнью.

Много позже, когда Свердлов услышал от Ленина, что нужно учить массы, но и учиться у них, он вспомнил себя на сормовской дороге и понял, что думал ощупью о том же, хотя и не нашел тогда такой ясной, до очевидности простой формулы.

8. ТРЕТИЙ АРЕСТ

Апрельское безоблачное небо за промытым до блеска окном, легкий узор тюлевых занавесок, кинутый солнцем на простор письменного стола, и даже заигравший в гранях массивной чернильницы сияющий зайчик не радовали его превосходительство.

Его превосходительство нижегородский губернатор сидел за столом без воротничка, по-утреннему, в домашней, считавшейся почему-то рабочей, серого тонкого сукна куртке с зелеными шнурами. Его превосходительство покосился на зайчика и чуть-чуть сдвинул чернильницу — он не любит, когда вещи стоят не там, где им определено быть,— но зайчик, подмигнув, обратился в сине-зеленый полосатый веер, и чернильницу пришлось переставить.

Его превосходительство распушил седые бакенбарды и решительно открыл лежавший перед ним на столе сафьяновый бювар с серебряными уголками на крышке, подбитой темно-красным шелком. В бюваре находилось письмо, которое с вечера беспокоило, вспомнилось зачем-то ночью,— он, против обыкновения, дважды просыпался и,

вероятно, проснулся бы в третий раз, если бы не нашел решения. Решение состояло в том, что если утром написать на полях письма резолюцию, отчеркнуть и подчеркнуть для выписки два-три абзаца в письме, так все дальнейшее произойдет само собой: чиновник для особых поручений сделает все, что нужно, и на обороте письма появится прекрасное слово «исполнено». Вот и все. Нужно только проследить насчет дат: резолюцию — вчерашним числом, выполнение — обязательно завтрашним. Пра-виль-но.

— Трам-та, та-та, та-а,— баском напел губернатор и подвигал раскрытый бювар, чтобы придать ему симметричное и удобное положение на середине стола.

Наклонившись к письму, он окинул его взглядом и предостерегающе поднял указательный палец. Посмотрев с минуту на ближайшую занавеску и обдумав, что лучше будет сначала подчеркнуть абзацы, а потом сочинять резолюцию, его превосходительство бодро схватил любимый зеленый карандаш и принялся за чтение.

Письмо было официальное, секретное и длинное. Из министерства внутренних дел. В письме вначале указывалось на приближение Первого мая; затем напоминалось, что в прошлом, 1902 году в Нижнем Новгороде, к сожалению, не были приняты своевременно достаточные меры к пресечению волнения умов, и это способствовало нарушению порядка и тишины; дальше предписывалось не допускать в текущем, 1903 году никаких подобных эксцессов (перечислялось, каких именно) и, наконец, предлагалось использовать в полной мере власть, действуя твердо, решительно и быстро. Тут же следовал еще особый абзац, в котором рекомендовались некоторые предварительные меры, помеченные буквами «а», «б», «в», и так далее до «р», где стояло: усиление наружных полицейских постов, усиление негласного наблюдения, производство внезапных обысков среди поднадзорных лиц, аресты или, при отсутствии улик, «изъятие (высылка или временное содержание при полиции) неблагонадежных элементов...»

Губернатор прежде всего отметил этот абзац сбоку толстой волнистой чертой. Подумал, перенес руку с карандашом выше и провел такую же линию на полях против места, где говорилось об использовании всей власти.

Линии получились наклонными. Его превосходительство поморщился. Не глядя, достал из ящика маленькую квадратную линейку и медленно построчно подчеркнул все

пункты от «а» до «р». Строку об «изъятии» он подчеркнул еще особо, без линейки, потолще; прочел вслух.

И тотчас родилась нужная резолюция. Его превосходительство сбоку на полях размашисто и вкось написал: «п-ж (это значило: полицеймейстеру и начальнику жандармского отделения). Немедленно принять меры».

Оставалось приятное и торжественное — «акция», как в особых случаях выражался губернатор,— поставить свою подпись. Он осмотрел карандаш, сделал кистью руки несколько округлых движений и с налету расписался. Вышло удачно: в меру тонко и значительно.

— Трам-та, та-та, та-а...

Его превосходительство, тихо напевая, переложил письмо в папку «К немедленному исполнению», закрыл бювар, переставил чернильницу на место и бодро направился завтракать.

Письмо из канцелярии губернатора не вызвало переполоха в охранном отделении. Ротмистр снисходительно улыбнулся, пробежав его взглядом, и отложил в сторону. Он без губернатора знал, чем надо заниматься,— на столе двумя стопками, слева и справа, высились «дела» в синих обложках. И правая стопка была выше, она выглядела аккуратней,— сюда ротмистр накладывал просмотренные дела одно на одно и каждый раз подравнивал. Слева брал, не глядя и не всегда по порядку, отчего из стопки вкривь и вкось торчали синие потрепанные углы. Читал ротмистр вдумчиво,— в своей работе он больше всего любил так вот, сидя в одиночестве в полутемной комнате с толстыми каменными стенами и решетками на окнах, листать вшитые суровыми нитками бумажонки разных форматов, припоминать попутные обстоятельства и размышлять. Иногда после таких вечеров деятельность охранки оживлялась.

Ротмистр потер лоб, восстановил прерванную нить мыслей, перекинул последнюю страничку в раскрытом перед ним довольно тощем деле. Закрыв, переложил его направо.

На освобожденном месте обнаружился лист бумаги, разлинованной в клетку. Сюда столбиками заносились фамилии. Лежал лист поперек. Столбиков было три: над первым стояло подчеркнутое, крупно написанное слово

«арест»; над средним так же четко было выведено «обыск», а над последним красовался большой, аккуратный, плавно выписанный вопросительный знак, напоминавший шахматного коня. Этот столбец был самым длинным. Впрочем, в первом значились всего две фамилии: «Семашко Н. А.» и «Пискунов А. И.», вписанные туда еще до того, как ротмистр принялся перечитывать материалы.

Задумчиво посмотрев еще раз на правую стопку, ротмистр взял перо, вывел в среднем столбике цифру «семь», поставил скобочку, покачал головой и решительно написал с нажимом: «Соколовская Н.». Он не считал ее опасной до сегодняшнего дня, но, перечитывая выписку из донесения пристава о том, как год назад на похоронах студента Рюрикова Соколовская вынимала из рукава прокламацию, он вслух обозвал себя «шляпой», что бывало не часто.

Запись на обыск лишь до некоторой степени восстановила душевное равновесие, недовольство собой не исчезло. Оно усилилось, когда ротмистр перечитал несколько бумаг в деле, оставленном им напоследок. Собранные в одно место донесения филеров и секретного агента охранки, работавшего в подполье под кличкой «Динамит», не оставляли сомнения в размахе и характере деятельности бывшего гимназиста Якова Свердлова.

— Черт знает что! — определил ротмистр и пригладил влажными пальцами височки.

Он отделил ладонью старые документы и еще раз перечитал сообщения текущего года об участии Свердлова на собраниях в январе и феврале на квартире Кисловой по вопросу о помощи высланным участникам первомайской демонстрации 1902 года; у Сосиной — о перепечатке изданий Сормовского комитета РСДРП; у Сомова — по вопросу об организации кружка семинаристов.

— Безобразие!

Это больше всего относилось к безвыходному положению, в котором вдруг осознал себя ротмистр. Агент аккуратно доносил в охранку о нелегальных сборищах лишь после того, как они происходили, и ротмистр понял, что добиться другого порядка он не сможет: если агент сообщит заранее и сам не пойдет на собрание, он избегнет ареста, но вызовет подозрение у товарищей; если явится и будет

арестован наравне с другими, что с ним делать потом? Сослать в Сибирь — нелепо, освободить от наказания — все равно что крикнуть с городской площади: «Провокатор!»

Ротмистр откинулся на спинку кресла, вытер платком руки и закрыл глаза, стараясь придумать что-нибудь достойное.

Посидев так, он закричал:

— Федоренко!

Не дожидаясь появления вахмистра, ротмистр поспешно разыскал в столе бланк ордера на арест, заполнил его.

Федоренко сразу определил настроение начальства и зачем понадобился. Он одернул наспех мундир, расправил усы и на цыпочках подошел к столу. Но ротмистр посмотрел мимо него, сложил ордер вчетверо и засунул во внутренний карман мундира. Федоренко поспешно отступил на шаг и замер, стараясь не моргнуть.

— Понял? — спросил ротмистр и, прищурившись, оглядел вахмистра.

Федоренко, склонив голову, кашлянул в ладошку и выпрямился:

— Вроде так соображаю: с вашим высокоблагородием на операцию идти мне.

— «Опе-рация»! — передразнил ротмистр. — Обыск! Для обыска пойдешь. И этого...— ротмистр мотнул головой влево,— ну с Покровки.

— Шестой, ваше высокоблагородие!

— Шестого сейчас же убрать! Чтоб не торчал! Пусть здесь сидит до ночи — с нами пойдет.

Федоренко кивнул головой, будто наклонился.

— Второе. Смотри сюда.— Ротмистр потыкал пальцем в первые два столбца и протянул вахмистру клетчатый листок: — Перепишешь и приставам по принадлежности. Им тоже все сегодня оборудовать. Семашко и Пискунова прямо на Острожную — прокурор знает,— остальных, если при обыске что найдут, содержать при участках. Всё вместе и будет по-твоему «операция».— Ротмистр потер руки и засмеялся.

Федоренко переступил с ноги на ногу, улыбнулся:

— И я так соображаю, что под метелку нужно, чтоб чисто было и в аккурате.

— Иди... Соображало!..

— Вот мы и управились,— сказала Щепетильникова, положила рядом с гектографом на прикрытый газетами стол последнюю отпечатанную прокламацию и устало выпрямилась; прядь темных густых волос защекотала бровь, она отстранила ее рукой, взглянула на липкие, в чернилах пальцы и вскрикнула: — Наташа! Я опять измазалась?

— ...шестьдесят три шестьдесят четыре...— торопливо вслух считала Соколовская, перекладывая на угол стола готовые экземпляры.— Я сейчас... Шестьдесят пять...

— Лишнее пятно на лбу,— отозвался Свердлов,— пустяк. Главное, что кончили. Конец — всему делу венец, как однажды при мне выразился по-русски некий... впрочем, неизвестный Марии Щепетильниковой англичанин Уильям...

— Неправда! — возмутилась и тут же рассмеялась Щепетильникова.

— Яша, не выдумывайте.— сказала Наташа.— Шестьдесят восемь штук! Только два листика и напортили. Что, не справились? — Наташа горделиво улыбнулась, через плечо взглянула на Свердлова и смутилась.— Нет, правда, не хуже вашего «техника». Там пятьдесят,— она кивнула на стопку прокламаций, изготовленных до прихода Свердлова и теперь лежавших в перевязанной бечевкой пачке на стуле в углу комнаты,— да эти... выходит, почти сто двадцать листов.

— Молодцы! Я так и подумал про себя.

— То есть, значит, не про нас?

— Наташа, сказано «молодцы», а я никогда не думаю о себе во множественном числе, и, следовательно...

— Товарищи, хватит,— сказала Щепетильникова,— нужно скорее прибраться. Уже сумерки.

Наташа медленно прошлась по комнате, заглянула в окно поверх занавески.

— Сумерки трудового дня. «Весенний сумрак пал на землю...» Я, кажется, все-таки устала. Давайте две минутки посидим, а потом как возьмемся сразу втроем. Яша, согласны?

— Можно. Между прочим, сумерки — самое безопасное время. Потому что шпики исчезают с улиц, а для обыска рано. Жандармы любят полночь. Как призраки.

— А мне почему-то представляется, что они постучатся на рассвете...

— Маруся! Ну не надо про жандармов! Лучше поси-

дим тихо.— Наташа опустилась на ближайший стул.— Люди должны отдыхать молча, вот.— Она пересела боком, положила на спинку стула локоть, склонила голову, зажмурилась.

Свердлов посмотрел на нее и тоже ощутил усталость — день выдался хлопотливый. Утром он узнал, что из Самары накануне прибыла очередная оказия. Пришлось с явки в канавинской аптеке подняться в город, к Пискунову. Там выяснилось, что есть две листовки. «Ростовская стачка» и «Солдатская памятка», которые хорошо бы размножить. Получив листовки, Свердлов помчался на Острожную площадь, где в хибарке, напротив тюрьмы, укрывалась комитетская подпольная типография, но не застал «техника». Чтобы не терять времени, Свердлов снова поднялся в гору, к дому Щепетильниковых. Здесь оказалось: желатин, краска, бумага есть, родителей Маруси нет и можно бы все организовать немедленно, если бы помогла, скажем, Наташа Соколовская, а текст листовок был уже переписан, как полагается, специальными чернилами. Маруся вызвалась приготовить гектограф и сходить за Наташей, но писать текст отказалась: «Вы же отлично знаете, Яков, что прокламация лишь тогда прокламация, когда ее можно прочитать, а что я, что Наташа — как курица лапой». И Свердлов понесся искать переписчика. А когда наконец одна листовка была переписана,— чтобы не задерживать печатание, пришлось бежать к Щепетильниковой, возвращаться к переписчику и со второй прокламацией — опять к Щепетильниковой.

Одни разговоры и беготня взад-вперед, а день промелькнул. Уже сумерки... И не все сделано.

Неожиданно Соколовская посмотрела на Свердлова, на Щепетильникову и встрепенулась:

— Давайте знаете что? Чай пить. Маруся, пожалуйста, не возражай! — Наташа вскочила.— Пока будут уничтожаться следы преступления, самовар прекрасненько поспеет. Яша, вы сегодня что-нибудь кушали? Честно.

— Я? — Свердлов проглотил набежавшую слюну и поспешил встать.— Видите ли, сегодня утром я...

— Утром не считается. Вы не обедали!

— Но это совершеннейший пустяк. Вы не дослушали: я еще утром перенес сегодняшний обед на завтра. Во-вторых, некогда, Наташа. В сущности, некогда даже чай пить. Пора.— Свердлов встал, оправил рубашку, пиджак.

— А у нас, Яша, сегодня ваши любимые бублики с тмином,— сказала Наташа и оглянулась на Марусю.

Щепетильникова стояла у стола и, вытянув перед гектографом перепачканные руки, подбородком и щекой старалась подтянуть повыше рукава белой блузки. Наташа подбежала помочь, но тотчас отдернула руки — кончики пальцев были сиреневые.

— Глупости! Не надо! Я сама,— сказала Щепетильникова,— ты лучше оберни листовки в газету.

Свердлов потоптался около. Он не знал, как поступить: руки у него были чистые, он мог бы помочь Щепетильниковой справиться с рукавами блузки, но можно ли прикасаться к женской руке, он не знал, и что-то мешало это сделать.

Щепетильникова рассердилась на себя: своим туалетом (простенькая, гладкая блузка с мужским галстуком, прямая черная юбка, широкий кожаный пояс) и поведением (угловатые жесты, размашистая походка), куреньем самодельных крученых папирос, грубоватым голосом, то есть всем, чем могла, Щепетильникова утверждала равноправие с мужчинами и подчеркивала свое презрение к любому проявлению женственности, и вдруг сейчас, поняв замешательство Свердлова, она ощутила себя женщиной. Это было возмутительно! Щепетильникова рывком подхватила гектограф.

— Подождите,— произнес Свердлов так неожиданно громко, что Наташа вздрогнула и, побледнев, повернулась к двери: ей представилось, что возникла опасность — сейчас войдет полиция.

Свердлов рассмеялся:

— Вот нервы! — и понял, что этого не следовало говорить.

Наступила неловкая тишина, когда людям труднее всего посмотреть друг на друга. Только что в комнате было трое — теперь каждый остался один со своими разбегающимися мыслями, очень недовольный собой и чуть враждебный другим. Требовалось скорее что-то сказать или сделать.

Свердлов прошел в угол комнаты, к прокламациям, лежавшим в перевязанной пачке на стуле.

— Вы же хотели завтра.

Наташа проговорила это тихо и печально. Рушилась ее маленькая мечта: когда Свердлов прибежал с текстом

второй листовки и заявил, что можно не спешить — он заберет все отпечатанные утром. Наташа тотчас представила себе, как, уговорив Марусю разделить прокламации, отнесет половину к себе на ночь домой; наконец-то она будет иметь право, как Маруся, как все настоящие подпольщики, говорить мимоходом, но значительно, что хранит... «нелегальщину». До сих пор Наташа прятала под матрацем или в диванной подушке запрещенные цензурой брошюрки, но это было, конечно, совсем не то: брошюрки или книжки давались ей лишь для прочтения — а мало ли кто читает запрещенную литературу! — другое дело пачка свежих прокламаций, предназначенных для разбрасывания среди рабочих.

— Вы мне не доверяете, вот что!

Наташа сказала это звенящим голосом на ходу, не глядя на Свердлова, и вышла вслед за Щепетильниковой.

Свердлов опустил пачку. Нахмурился. Нести прокламации на конспиративную квартиру в район пристаней сейчас, в нерабочую пору, когда там мало прохожих, не полагается. Идти к кому-нибудь? Взять к себе? Не к чему — у Щепетильниковой надежная квартира, и, пожалуй, самое безопасное в городе место именно здесь.

И опять что-то мешало так поступить. Свердлов собрал прокламации в один тюк, рассеянно прикинул его на руке, подержал под мышками и, когда девушки вернулись в комнату, заторопился уходить.

...По дороге домой обдумывать было нечего — день кончается. Позаниматься — и спать. Назавтра срочное — только занести прокламации. И вдруг подумалось, что Маруся и Наташа подруги, а они совсем разные. Почему-то в жизни так часто бывает. Даже внешне Щепетильникова и Соколовская не похожи. Наташа... Наташа, конечно, красивая, волосы пушистые, она высокая и легкая, глаза голубые, большие. А Маруся маленькая, плотная, и глаза... глаза, кажется, темные... Она обыкновенная, но зато надежный товарищ, на нее можно положиться. А Наташа — как барышня!

В понимании Свердлова это было не простое для того времени обиходное слово, но исчерпывающее определение лишь для тех пустых и вертлявых созданий, которых он презирал.

Наташа — и барышня! Придет же такая нелепость в

голову! Свердлов дернул плечом, окинул взглядом редких прохожих, посмотрел на заснувшего, скорчившись на козлах, извозчика, на его задумавшуюся с опущенной головой лопоухую пегую лошаденку и ощутил, что на улице, в сущности, неуютно, пустынно и, главное, холодно.

Свердлов торопливо пихнул отогнутый верхний угол пальто внутрь, застегнулся на все пуговицы, поднял воротник и зашагал побыстрее.

Дома его встретила одна Марья Ивановна. Тут же, в дверях, Свердлов шепотом попросил ключ от чердака.

Марья Ивановна отшатнулась, мгновенно высмотрела зажатый у Яшеньки под мышкой сверток в газетной бумаге и тут же повела головой назад:

— Папаша дома.

— Ничего.

Марья Ивановна согласилась, прижмурив глаза, и осторожно прошла на кухню за ключом.

Жандармы явились почти как призраки. Была полночь. Свердлов не сразу понял, что проснулся. В комнате стояло незнакомое безмолвие, а сердце колотилось, будто продолжался сон — Свердлов только что куда-то падал и, кажется, упал.

Вдалеке возник неясный шум. Свердлов приподнялся на локтях. В щели под дверью засветилась робкая полоска.

Говор, топот... Они!

Свердлов выбрался из кровати — и босиком к двери. Верно: крючок замкнут. Есть несколько минут, пока ведутся переговоры.

В два шага Свердлов у письменного стола. Протянутые руки проверяют: он вечером занимался — стопки безобидных учебников справа и слева,— потом перед сном читал свежий литературно-художественный сборник под редакцией Горького «Знание», он остался раскрытым посередине стола. Сборник разрешен цензурой, но в нем заложены самарские прокламации.

Шаги приближаются. В темноте не так просто на ощупь отыскать между страницами нужное.

Вежливый стук в дверь костяшками согнутых пальцев. Дверь чуть-чуть отходит, обозначается боковая дверная щель.

— А? Кто там? — Свердлов говорит медленно, будто



спросонок. В правой руке вздрагивают два тоненьких листика, левой он приподнимает на середине край розовой промокательной бумаги, прикнопленной по углам к столу. Только бы не порвать!

— Откройте! Полиция.

— Сейча-ас. Уже одеваюсь.

— Немедленно открывайте! Оденетесь после! Слышите?

— Брюки...

— Федоренко, нажми!

Пригибаясь, Свердлов отпрыгивает от стола, хватает со стула брюки, садится на кровать.

Одновременно об пол звякает сорванный крючок, в комнату вместе с дверью влетает вахмистр Федоренко, не удержавшись, делает последний неуверенный шаг, и сразу для обеих сторон отпадает необходимость спешить.

Все сразу и прочно определялось: наступали будни. Свердлов пододвинул стул, поставил на его краешек ногу, занялся ботинком. Ротмистр вошел, деловито обвел взглядом комнату, уселся боком к письменному столу. В этот момент взгляды ротмистра и Свердлова скрестились, вспыхнули и погасли в одинаковой, наспех сделанной усмешке.

Ротмистр, не оборачиваясь к двери, медленно отвел назад и резко подал вперед согнутую в локте руку, словно загреб и подбросил ворох сена или соломы.

Группа людей за порогом шевельнулась. Вслед за Федоренко вдвинулся в комнату еще жандарм, потом гуськом затопали двое городовых. Дворник было подался вперед, но, нахмурившись, снял с головы картуз, оглянулся и отошел в сторонку, за дверной косяк. Быстрый шажок к порогу сделала Сара с прижатыми к горлу руками, всклокоченная и тревожная. Открылась сгорбленная грузная фигура отца в криво застегнутом мятом пиджаке с поднятым кое-как воротником; мелькнули руки Марьи Ивановны, толкавшие пряди волос под накинутый на голову и плечи темный шерстяной платок с бахромой.

— Подождите! — Свердлов крикнул и стремительно пошел на ротмистра. Федоренко и городовые замерли.— На каком основании вы...

— Не понимаете? Любопытно! — Ротмистр откинулся на стуле.— Скажите, и меня не узнали?

— Нет! И не в этом дело. Я протестую против вашего...

Свердлов остановился. Мелькнула мысль, что сейчас главное — не выдавать своего беспокойства. Наоборот... Но «Дед» учил· «Этих фруктов, знаете, весьма полезно осаживать; ловите каждый их промах и ставьте на свое место».

— Вы действуете незаконно, господин жандармский ротмистр, и превысили власть! Я протестую...

— Что, что такое?

— Нет уж, я договорю: я протестую против совершенного насилия, и...

— Довольно! Федоренко!

— ...и охранникам все равно не разрешается ломать двери, врываться, когда нет сопротивления. У нас не времена Грозного. Я знаю, что есть правила, как вы должны вести себя при исполнении своих жандармских функций!

— «Функций»! Так-так. Что же вам... господин Свердлов, будет легче, если предъявить ордер? Пожалуйста.

Свердлов взял ордер, подержал на весу, словно решал, признать или не признать бумажонку законной, и отбросил на стол. Хорошо бы еще сказать что-нибудь, но... черт с ними.

Свердлов с поднятой головой прошел к окну и опустился на стул.

Обыск начался. Он пошел своим неспешным чередом — трое знали свое дело и действовали, как механизмы, слаженно и молча. Ротмистр занялся письменным столом, вахмистр — кроватью и корзинкой под нею, а жандарм пошарил в печи, постукал изразцы, отковырнул железный лист на полу, плинтус, снял и распатронил два портрета, висевшие на стене. Только двое городовых, бывшие на черновой работе — отодвинуть, передвинуть, задвинуть,— неуклюже топтались между дверью и печкой.

Временами ротмистр, перелистав, осмотрев, встряхнув и отшвырнув учебник на пол (курс лекций Ключевского и сборник «Знание» он отложил на подоконник), щурился на вахмистра; вахмистр в ответ едва заметно поднимал и опускал плечо и тотчас переводил взгляд на жандарма; жандарм, будто только и ждал этой минуты, виновато втягивал голову в плечи и озабоченно морщил лоб. Так восстанавливалась по нисходящей линии служебная связь и подчиненному предлагалось усилить рвение. Даже городовые, если ротмистр замечал их, старательно оживали: тот, что был постарше, принимался хлопать ладошкой

по дверной филенке, второй лез в карман за большим клетчатым платком, наскоро обтирал вспотевший лоб, давая понять, что сейчас примется за дело с новыми силами.

Свердлов сидел спокойно. Он старался не смотреть в сторону письменного стола. Однако совсем не видеть того, что делает ротмистр, было невозможно, и Свердлов украдкой взглядывал на освобожденное от учебников пространство, где на розовой, местами вздутой поверхности промокательного листа выступала серым островком жалкая, под мрамор, подставка с одинокой чернильницей, облезлой ученической ручкой и погнутой бронзовой лирой с тремя проволочками-струнами.

Также старался Свердлов не думать о самарских листовках, к которым почти прикасалась ладонь ротмистра, но все же успел обвинить себя в легкомыслии· нельзя было, в самом деле, оставлять самарские листовки на ночь в своей комнате — их, конечно, следовало упрятать в тайник за стеной дровяного сарая; не следовало брать отпечатанные у Щепетильниковой с этих листовок прокламации; и уж совсем глупо было тащить сверток с прокламациями на чердак, чтобы просто-напросто сунуть в ближайший угол.

Тут же, накоротке, подумалось и о возможных последствиях: если обнаружатся на столе самарские листовки, неизбежен арест и возможна высылка, правда, скорее всего, кратковременная, но все же высылка, месяца на три; если пронесет с листовками, а догадаются сходить на чердак и найдут сверток,— высылка года на два, не меньше; ну, а если выловят то и другое,— верная каторга. В лучшем случае — вечное поселение где-нибудь у черта на рогах. Очень плохо. Плохо, Яков Михайлович, но сам виноват, и хныкать нечего.

Свердлов открыто посмотрел на ротмистра. Их взгляды скрестились, как и в начале обыска, но теперь в глазах ротмистра не рождалась снисходительная усмешка — в них юркнула растерянность, и ротмистр поспешил отвернуться.

Посидев так с минуту, уставившись на открытый отдушник, ротмистр поморщился, рассмотрел переминающихся городовых и кивнул им головой. Городовые не сразу поняли, что это должно значить, переглянулись.

— Ну! — угрожающе произнес ротмистр.

Городовые нескладно рванулись с места, шагнули к столу. Одного, помоложе, ротмистр поставил между эта-

жеркой и столом подавать книги для просмотра, другому приказал обследовать чердак.

— Есть тут чердак?

— Так точно, должен быть чердак, ваше высокородие! — отчеканил, не переводя духа и не мигая, городовой.

— Он, как бы сказать, у нас общий, ваше благородие, на две квартиры чердак, то есть сообща, ваше благородие.— Дворник проговорил это, слегка подавшись из-за косяка, хмуро глянул в пространство около головы ротмистра и вновь уплыл в темноту.

Городовой постарше, прижав рукой шашку к бедру, на цыпочках прошествовал в коридор. Свердлов переменил позу — выпрямился, скрестил на груди руки, закинул ногу за ногу.

Вскоре комната окончательно потеряла жилой вид: оголились стены, корзина и чемодан с покиданными обратно навалом вещами вылезли на середину; стояли на ходу скромные знакомые стулья; кровать, табуретка с эмалированным синим тазом и таким же кувшином отделились от стен и выглядели чужими. Жандармы натыкались на вещи и задумывались, прежде чем находили, чем бы еще заняться. Только городовой у стола суетливо, с полной готовностью принимал из рук ротмистра развороченные книги, кое-как водружал на свободную полку и, потея от напряжения, переминаясь, ждал знака, чтобы ухватить с этажерки очередную зыбкую стопку книжек, перенести их и, главное, опустить поаккуратнее перед незнакомым начальником.

Среди этих наблюдений и ненужных мыслей-воспоминаний о невозвращенной и, кажется, недочитанной книге, которую листает ротмистр, или о плоской конфетной коробке не то со старыми марками, не то с остатками переводных картинок, которую извлек Федоренко из какого-то угла и собирается изучать, Свердлов все время помнил об ушедшем городовом. Беспокоило и то, что в коридоре не видно Марьи Ивановны. Городовой мог взять ее в провожатые — посветить на чердаке, и это плохо. Конечно, Марья Ивановна поняла про сверток под мышкой все и может именно поэтому растеряться, сказать такое, что городовой обязательно ухватится за сверток и притащит сюда.

У Марьи Ивановны действительно будто упало вниз сердце, когда к ней подошел в коридоре городовой. И ноги

были сами не свои, пока она шла на кухню. И в жар ее бросило, когда непослушными руками принялась переставлять на кухонных полках чугунки и кастрюльки, якобы разыскивая запропастившийся ключ. Но стоило городовому сказать: «Чего трясешься-то? Простыла?», как Марья Ивановна метнула в его сторону испепеляющий взгляд. Потом, то и дело заправляя волосы под платок, она заговорила. Может быть, волненье и вдохновило ее на необыкновенные слова:

— Чего уставился, ирод? Найду ключ — отдам. Скажу — бери, да только вот тебе крест святой, хоть арестуй, хоть убей, что хочешь со мной делай, а не пойду я на чердак этот. У нас, как смеркнется, никто туда ногой не ступит.

— Ну? К примеру случай или что?

— Привиденье там, вот что! Понимаешь?

— Но? Воо...

— Старуха повешенная там. Другой раз проснешься, а над головой так и ходит. Лётом летает, шуршит, чего-то кидает. И не то чтобы как-нибудь, а человечьим голосом стонет.— Марья Ивановна зажала ключ в кулак, присела на табуретку и пристально посмотрела на городового.— Старуха аккурат под самое Введение с собой покончила, повесилась. И является. Один раз так же вот ночью оттуда соседская кошка как полоумная пронеслась. Трясется, шерсть дыбом и так далее. Да и я видела. Чтобы не одной идти, позвала я ту кошку с собой, на руки взяла, днем дело было,— а подошли к двери, отомкнула — кошка как прыснет! Только я ее и видела. Ты как хочешь, но только кошки — они насчет этого умные. Не знаю, правда ли, нет ли, а слыхала я, что ни сабля, ни пистолет против привиденья недействительные. Ты небось семейный? Так я от души тебе скажу: вот, возьми ключ, а не ходи ты туда, посиди на приступочке, будто ходил, а сам не показывайся. Не ровен час... Да и что искать? Добро бы кто из семейства на чердак ходил, а то ведь нет; не к чему им туда лазить, вот что.

Хотела Марья Ивановна четвертинку с водкой на стол выставить — была у нее к зиме припасена на случай, если с дровами в сарае поморозится, так руки-ноги до красноты натереть,— но подержала в руках на виду и опять водрузила на полку.

Городовой взял ключ. Поскреб в затылке, принял от

Марьи Ивановны тонкую церковную свечку, засунутую в пустую водочную четвертинку, и, потоптавшись, вышел на лестницу.

Постояв там, он задул свечку, еще прислушался и осторожно, стараясь не скрипнуть, поднялся к чердачной двери с висячим замком. Но из щелей так явственно пахнуло вдруг нездешним холодком, что он поспешно отступил. На нижней ступеньке присел и, подождав, решительно закурил самокрутку.

Возвратился городовой в комнату, когда обыск подходил к концу.

Ротмистр перелистывал последнюю книжку — сказки Пушкина в разодранном пополам коленкоровом переплете с золотыми буквами и цветной картинкой: Руслан перед мертвой головой,— когда за спиной возникли шаги. Ротмистр мельком взглянул и с шумом захлопнул книгу.

Городовые — и тот, что остановился позади ротмистра, и тот, что стоял перед ним,— оба одновременно зашевелились.

— Ничего, значит, подозрительного, ваше высокородие, весь чердак излазил как есть,— ничего нет, ваше высокородие!

— Кру-гом!.. А ты, ты что стоишь куклой!

Молодой городовой захлопнул рот и, растопырив руки, ухватил со стола кипу, стремительно поднял, не сводя глаз с разгневанного лица начальника. Из охапки сорвалась книга сказок и углом ударила в подставку; чернильница упала набок.

— Болван! — Ротмистр отскочил от стола.

Федоренко бросился вперед — на столе на промокательном розовом листе короткий черный ручеек медленно расплывался блестящим озерком. Наскоро подсучив рукава, вахмистр быстрым, аккуратным движением надорвал розовый лист посередине и отогнул, собираясь, видимо, скомкать залитый кусок промокашки и сбросить на пол. Но не сбросил, а лишь снял и отодвинул, другой рукой срывая вторую половину листа. На зеленом потертом и запыленном сукне стола четко обозначились розовые, полупрозрачные листки прокламаций.

Свердлов мгновенно повернулся спиной. Похолодели руки, и в ту же минуту бросило в жар. Выдал себя! Струсил! Он сжал кулаки и с поднятой головой вновь повернулся к столу.

— Ничего не скажу! Не знаю!

Ротмистр оказался у стола. Он в упор смотрел на Свердлова, и в руках его были прокламации. Может быть, он понял, что Свердлов напряжен до крайности и раздражать его опасно.

— Вы не придумали? — Ротмистр сказал приготовленные слова, но они прозвучали мягче, чем он ожидал: вместо иронии в них слышалось чуть ли не участие.

Свердлов хотел было крикнуть: «Да! Не придумал!», но промолчал и, сделав крутой поворот, пошел к чемодану. Там он достал ремешок и старую, потрескавшуюся на сгибах клеенку, в которой носил четыре года назад школьные тетради и учебники.

Ни на кого не глядя, он спокойно обогнул городового и подошел к этажерке.

— Собираться? Я сейчас буду готов.

— Видите ли... Я позволю себе все-таки дать вам совет. Это,— ротмистр снова взял прокламации со стола и приподнял их,— это бесспорная улика и достаточно для обвинения. Но степень, степень вашего наказания будет зависеть от чистосердечного...

— А вы не рассуждайте, господин ротмистр. Ваше дело обыскивать и арестовывать. Я готов.

На этот раз Свердлову пришлось пробыть в заключении четыре месяца.

Первые тюремные дни он провел в одиночной камере той башни, которую столько раз видел с чердака у Лубоцких. Она оказалась внутри такой, как он представлял себе: древней и глухой, как подземелье. Знакомиться с ней было нечего, надо было ее обживать, и Свердлов со второго же дня завел твердый распорядок: гимнастика, завтрак, час занятий, потом сто двадцать медленных шагов по диагонали взад и вперед с поворотами через правое плечо, час занятий, сто двадцать шагов и двадцать поворотов налево, новый час с книгой или тетрадью...

О трудности и необходимости соблюдать в тюрьме личный режим рассказывали «Дед» и другие ссыльные. Тогда Свердлову казалось, что они зря тратят на уговоры столько времени. К чему доказывать, что черное есть черное? Он даже не отвечал словами — кивал головой и переставал слушать: не нужно взрослому человеку напоминать,

что следует, например, есть, чтобы жить. Свердлов был уверен в себе: ведь те, что рассказывали, сидели в тюрьмах, выдержали,— справится и он. Это несомненно. И, в конце концов, тюрьма — штука временная. А трудности — пустяки, если думать не о себе, а о товарищах и революции.

Упорство, однако, понадобилось. Это в разговорах на откосе, сидя тесной группкой на скамье над Волгой, все рисовалось чрезвычайно простым:

«Ну, тюрьма, товарищи, на месяц, два, три, пока не вынесут приговор... Так идеальные же условия для занятий — один, тишина, спешить некуда. Между прочим, вам, Наташенька, обещаю перерешать все задачи по тригонометрии и подогнать физику за восьмой класс».

Именно так и было: на деревянном столике раскрыты тетрадь в клетку и учебник, в руке карандаш, вокруг ничто не движется, даже воздух! Один. Тишина.

«Угол альфа равен тридцати градусам, значит, синус равен половине». Свердлов, прищурившись, смотрит перед собой и видит — это не дома, где не замечал оклеенной светлыми обоями стенки с фотографиями и картиной «Грачи прилетели» над этажеркой,— видит грязный свод потолка, холодные каменные стены, истертый, с выбоинами каменный пол. И слышит тюремную каменную тишину, от которой начинает глухо шуметь в голове и тоненько-тоненько, но противно звенеть в ушах.

Свердлов вскакивает и стремительно шагает. Тишина пропадает, но как-то незаметно наваливаются непрошеные размышления о себе в тюрьме, о своем нелепо обидном и глупейшем положении во время вчерашнего допроса; представляется самодовольное лицо следователя, слышится его играющий тенорок: «Эти два листочка обнаружены были, кажется, на вашем столике, господин Свердлов, не так ли? Очень вероятно, что вы нашли их на улице — шли, так сказать, задумавшись о чем-то, и вдруг... А?

Может быть, абсолютно машинально подняли, не читая опустили в карман. Представляю о-очень ясно. Однако... однако прокламации очутились на столе! Это худо. Впрочем, если в задумчивости, второй раз машинально...»

Свердлов резко остановился, поднял сжатые в кулаки руки и трижды стукнул до боли кулаком о кулак.

Не-ет, только не распускаться, Яков Михайлович!

Он подошел к столу, садясь, громыхнул табуреткой и наклонился над учебником:

— «Синус альфа плюс бэта равняется: синусу альфа на косинус бэта плюс... плюс синус бэта на косинус альфа...» Ага, наоборот: «Синус — косинус, косинус — синус». Еще раз: «Синус альфа плюс бэта равняется...»

Усилия требовались не только для борьбы с одиночеством и беспокойными мыслями,— за пределами камеры угнетали и откровенно издевательская учтивость следователя и не менее подчеркнутая грубость тюремщиков. Особенно одного из надзирателей — большого, как медведь, и мрачного человека с притаившимися злыми глазками, который, пропуская в камеру, упрямо каждый раз подносил волосатый кулак и, оттопырив нижнюю губу, утверждал: «Тля, тля ты есть на земле, понимаешь?..»

...К концу второй недели управлять собой стало легче. На очередном допросе Свердлов подтвердил, что прокламации к нему попали случайно.

Следователь устраивался поудобнее: приподнявшись, откинул фалды судейского форменного сюртука, опустился и, вытянув руки, расправившись, медленно пригладил, словно почесал, подстриженные усики.

— Нуте-с, молодой человек, давайте побеседуем по душам.

Свердлов кивнул головой, отчего качнулось и сверкнуло стеклами пенсне, и резко сказал:

— Пишите!

У следователя поползли вверх брови, на лбу вспухли морщины.

— Пишите: по поводу прокламаций, которые были найдены при обыске на моем столе. Подтверждаю в последний раз: подобрал на улице, думал, что рекламы.

— Но где, где?

— А вы не перебивайте, вы пишите. Двадцать раз я не обязан повторять одно и то же. Было это... недалеко от дома. Вышел за бубликами с тмином и около булочной поднял. Увидел, что ошибся, но как раз входил в булочную, девать некуда, и я сунул пока листки в карман.

— Очень понятно «пока». Потом пошли домой?

— Сейчас.— Свердлов сделал вид, что раздумывает.— Все дело в том, господин следователь, что бублики с тмином у нас в семье любят,— купил три фунта, и пришлось поддерживать двумя руками, чтобы не разронять. Ну, а

дома, когда прошел в свою комнату, только тогда смог убедиться, что листки — не рекламы, а прокламации. Две прокламации...

— И что же?

— Ничего. Решил уничтожить.

— Ага! Значит, во-первых, все-таки поняли, что прокламации.

— Понял.

— Очень хорошо. Поняли и решили сохранить, чтобы потом...

— Нет, наоборот.

— То есть как же наоборот?

— Я сказал: реши-ил уничтожить.

— И для этого упрятали под промокательный лист? Весьма оригинально! — Следователь посмотрел на Свердлова и, встретив его спокойный, прямой взгляд, побледнел: — Довольно комедию ломать! Невероятную чушь порете! Бублики! С кем вы разговариваете?

— Во-первых, продолжу, а вы пишите. Мне торопиться было не к чему. Я сел заниматься и положил листки, чтобы не мешались, под промокашку, а потом забыл про них — они же мне были совершенно не нужны. Во-вторых, кричать на допросе вы не имеете права — это незаконно. И, между прочим, вредно для здоровья. В-третьих, я сказал все, что могу показать вам по делу о найденных прокламациях, господин следователь. И это вообще все, чем я могу помочь следствию.

Следователь хотел было что-то сказать, но промолчал. Он сдернул со стола на колени пухлый портфель и, путаясь в бумагах, начал за уголки вытягивать то одну, то другую бумажку.

Наконец он ухватил ту, что искал, и еще раз исподлобья взглянул в сторону Свердлова.

— Вот посмотрите!

Свердлов невольно выпрямился. В руках следователя оказался знакомый небольшой листок, на котором лиловыми чернилами были выведены в заголовке два слова в кавычках: «Ростовская стачка». «Значит, нашли на чердаке! Или проследили кого-то!»

— Узнаете? Так-с. Великолепно!

Свердлов побледнел, продолжая смотреть на листок. Бумажка выглядела мятой, с большим коричневатым расплывшимся пятном посередине; один угол оторван.

— Нет. Я не знаю.— Свердлов качнулся — он хотел отвернуться, но тут же поправился на стуле и протянул руку: — Я не вижу отсюда. Дайте.

Следователь отвел руку назад.

— Экземплярчик грязноват — был, знаете, отклеен с афишного столба напротив театра позавчера. Впрочем, это неважно. Важно, что этот листок не что иное, как отпечатанная на домашнем гектографе копия с изъятой у вас прокламации. Так что...

Свердлов вспыхнул от внезапной радости: «Не пропали! Наклеены были! Кто-то достал с чердака. Вероятно, Маруся».

Теперь нельзя было хоть на миг не отвернуться. Свердлов попробовал усмехнуться, поспешно убирая протянутую руку:

— Не даете? Как хотите. Не надо.

— Я тоже так думаю, господин Свердлов, что не надо. Однако меня интересует, как вы объясните нам такое совпадение фактов.

— Я? — Свердлов поднял голову и счастливым взглядом посмотрел на следователя.— Вот и не знаю! — Он поправил пенсне, приподнял плечи.— Я думаю, что день-два, может быть, «экземплярчик» провисел и кто-то из прохожих успел...

— Ну, вы! Я не спрашиваю вас...

— Хорошо. Я потом представлю себе. Потом. А сейчас заявляю: как на столбе появилось, кто осмелился, откуда переписывали и прочее, совершенно не знаю, не представляю себе, потому что две недели нахожусь в одиночном заключении...

Возвратившись в камеру, Свердлов остановился у столика и громко сказал:

— Молодцы!

И долго — больше, чем полагалось по его расписанию дня,— размашисто ходил по камере, не замечая ни тишины, ни стен.

В мае Свердлова перевели из башни в деревянный барак на тюремном дворе. Это было, как в детстве переезд в деревню, «на дачу»,— внезапные и радостные ощущения запахов летнего воздуха на воле и в комнате, обилия зелени, близости необъятного неба. В новой камере ока-

залось широкое окно — Свердлов бросился к нему и несколько минут простоял, оглядывая облака над панорамой зеленых и красных крыш и верхушками деревьев городского сада на горе, песчаный двор с вспорхнувшей к раскидистому вязу стайкой воробьев и кустиками сочной травы около крутой, недавно побеленной каменной ограды. И еще постоял, сорвав пенсне, с поднятым лицом, прижмурив глаза, наслаждаясь ласковым теплом солнечных лучей.

Теперь Свердлов не мог не жить — а это значило действовать — даже в тюрьме. Новая обстановка предоставляла возможность общения заключенных: камеры в бараке небольшие, но и не одиночные, на прогулки выводили в две смены и разрешалось ходить по двое, по трое, а на площадке для курения — квадрат с четырьмя врытыми в землю скамейками — собирались группами.

Через неделю Свердлов знал почти всех сотоварищей по бараку (и оказался в центре многих жизненных интересов, потому что умел и слушать так, что хотелось рассказывать ему не только о поступках, но и о самых беспокойных соображениях, и умел высказать мысль, над которой было интересно подумать). Он был молод, жизнерадостен и, быстро сходясь с людьми, легко заражал их своей бодростью, энергией и верой в несокрушимость общих организованных усилий.

Наладились через сотоварищей сношения с волей, место учебников заняли книги из тюремной библиотеки, и даже удалось продолжить свою практическую работу пропагандиста: во второй смене гуляющих была группа сормовичей, взятых на последней первомайской демонстрации, а среди них Сергей Кулов, прокатчик Дмитрий Никанорыч, которым Свердлов и предложил организовать для желающих занятия во время прогулок. В эти часы Свердлов пристраивался у себя в камере на подоконнике за решеткой и, заглядывая в раскрытую на коленях книгу, читал вслух «Анти-Дюринг» (листы были вклеены в «Жития святых» из тюремной библиотеки).

Некоторые из товарищей отнеслись было к предложению Свердлова отрицательно: «Мало того, что ничего не получится и ни к чему вся затея по своему существу, но она может подвести всех нас под репрессии со стороны администрации». Один из противников — худой и обросший «Вечный студент» Кузьмичев — произнес даже речь

во время прогулочного часа на площадке для курящих. Поминутно откидывая со лба волосы и подчеркивая свое возмущение деятельностью Свердлова взмахами рук, вздыбливая плечи, он призывал слушателей вообще осудить демагогичность приемов искровцев в предсъездовской борьбе и безусловно отказаться от вредной затеи Свердлова, так как попытка ее осуществить ухудшит тюремный режим.

Время для революционного подполья было особенное: делегаты на II съезд РСДРП от местных комитетов уже пробирались окольными дорогами к границе, и организация в России социал-демократической партии должна была стать историческим фактом в ближайшие, считанные дни. Это волновало всех и обостряло разногласия. Конечно, самые пламенные доказательства правильности или неправильности взглядов «Искры», высказанные на тюремном дворе в Нижнем, уже не могли повлиять на решения в Брюсселе, однако каждый понимал, что исход борьбы на съезде — не только общественное событие, но и событие в личной жизни каждого подпольщика, потому что затруднит деятельность одних и укрепит, а значит, и облегчит положение других.

До тюрьмы Свердлов сталкивался в своей работе в Сормове, в разговорах с молодежью в Нижнем с антиискровскими настроениями и горячо отстаивал ленинские взгляды, разъяснял их. Во время споров на конспиративных квартирах и собраниях комитета ведущими спорщиками обычно оказывались более опытные и искушенные в партийных разногласиях ораторы. Как в семье взрослые сыновья и дочери для родителей остаются детьми, так для многих комитетчиков Яков Свердлов все еще оставался пятнадцатилетним гимназистом, каким он вступил в подпольную организацию три года назад.

В тюрьме положение неуловимо изменилось. Как-то случилось так, что поведение Свердлова в одиночной камере и борьба с администрацией словно осветили пройденный им путь не только для окружающих, но и для самого Свердлова,— будто порвались невидимые путы, мешавшие иногда держаться свободнее, увереннее. Он никому не уступил права сразиться с Кузьмичевым и одержал победу: «затея» была осуществлена, имела среди «гулящих» успех, оказалась продуманной и хорошо организованной. (Двое-трое из гуляющих по очереди заводили в сторонке

за углом разговор с дежурным надзирателем о жизни, о непонятных сновидениях, до которых этот надзиратель был охотник и любил поучать, что «каждый сон свой смысл имеет», а в подтверждение рассказывал, в свою очередь, длинные истории либо из своей жизненной практики, либо прочитанные в многочисленных тогда «сонниках» и «толкователях необъяснимых явлений»).

В праздничные и воскресные дни тюремная администрация разрешала выносить под бревенчатую стенку барака стол, лавку, табуретку, и тогда появлялись на столе разнокалиберные кружки, чашки, большой жестяной чайник, маленький белый чайничек с обломанным носиком. А вокруг стола собирались свои: Семашко в белой тужурке, серых брюках, в черной шляпе; Пискунов в синей косоворотке, фуражке и стоптанных башмаках; сормовичи-рабочие, обросшие бородами и бородками, в ситцевых рубахах, в матерчатых или веревочных туфлях-самоделках на босу ногу. Поодаль, чтобы видеть поле действий, но не слышать политических (с ними лучше не связываться), пристраивался в тенечке у пересыльного барака старший надзиратель (по прозвищу «Сом»), в кителе, с шашкой и револьвером. И одолевала надзирателя послеобеденная истома — он задремывал, а за столом разгорались разговоры и споры о путях революции, подсчитывались силы сторон на предстоящем съезде.

Незадолго до окончания срока заключения с воли в тюрьму (в переплете томика Пушкина) пришла весть о решениях II съезда. Свердлов и до этого почти был уверен в победе ленинской программы (это казалось ему таким жизненно неоспоримым), однако известие все-таки заставило радостно забиться сердце. Не умом, а всем существом он почувствовал это необыкновенное: партия существует! Отныне Нижегородский комитет — не случайная, временная группка знакомых, а орган партии. Сам он не просто доброволец, выполняющий поручения Чачиной или Пискунова, а член партии. Не юноша, мечтающий как-то по-своему о лучшем будущем России, а полноправный член организации, задача которой не вообще революционная борьба с правительством, а свержение самодержавия, уничтожение власти капитала, диктатура пролетариата — осуществление социалистической революции.

Свердлов как бы расцвел. Он вышел из тюремных ворот уверенным и в себе и в том деле, которое отныне обязан делать, как член партии.

Даже внешне жизнь его изменилась: Нижегородский комитет предложил Якову Свердлову перейти на нелегальное положение и утвердил партийную кличку.

Свердлов почувствовал, что мечта стать революционером-профессионалом осуществилась.

Действовать и жить нелегальным в родном городе было и труднее и легче, чем в чужом. Легче потому, что Яков знал все безопасные закоулки, проходные дворы, дома и квартиры, где можно укрыться в случае преследования; легче было находить тихое место для ночевки, пройти наиболее удобным путем в любое место в городе или окрестностях для встречи с теми, кто ждет пропагандиста или организатора. Труднее потому, что слишком много в Нижнем и Сормове случайных людей, которые знают Свердлова (а этого предусмотреть невозможно) и могут остановить, задержать для пустого разговора и расспросов о том, каково здоровье, что поделывает... Слишком хорошо известны многим чинам полиции и филерам охранного отделения лицо, походка и повадки Якова Свердлова, чтобы не узнать издали и даже рассмотреть под гримом и переодетым.

Но Свердлов сумел войти в новую обстановку. Он еще продолжал действовать в городе и Сормове, а жандармский ротмистр сообщал в соседние города, что революционер Яков Свердлов выбыл из Нижнего «в неизвестном направлении», и просил в случае, если его удастся обнаружить (прилагалась фотография и перечень примет), немедленно арестовать и препроводить в Нижний для привлечения по ряду дел к судебной ответственности.

Вскоре «товарищ Андрей» действительно выехал из Нижнего Новгорода в Кострому, Ярославль, Казань как уполномоченный Северного комитета.

Он стоял у борта парохода, смотрел на широкую солнечную Волгу и испытывал необыкновенное ощущение — будто выросли у него крылья.

Юность осталась позади, но это и было самое замечательное — почувствовать себя на земле Человеком.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Серия ,,Делать жизнь с кого"

Попов Николай Васильевич

ЮНОСТЬ АНДРЕЯ

Повесть

Для детей среднего школьного возраста

Редактор Л. В. Белявская
Художник В. А. Авдеев
Художественный редактор В. П. Мирко
Технический редактор Г. М. Субботина
Корректоры О. М. Кухно, А. П. Шалаурова

Сдано в набор 18 июня 1970 г. Подписано к печати 10 августа 1970 г. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. 9,66 печ. л., 10,17 изд. л. Тираж 100 000 (1—50 000).

Западно-Сибирское книжное издательство, Новосибирск, Красный проспект, 32. Заказ № 84. Полиграфкомбинат, Новосибирск, Красный проспект, 22.

Цена 41 коп.





Цена 41 коп.

Н. ПОПОВ • ЮНОСТЬ АНДРЕЯ